

232

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

232

2009

2009

Oktober – Dezember

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Виталий Амурский, **Франция**
Белла Ахмадулина, **Россия**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Виктор Кузнецов, **Россия**
Екатерина Труш, **США**

Москва–Париж–Берлин
Сан-Франциско

Г Р А Н И

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LXIV

№ 232

2009

СОДЕРЖАНИЕ

- «Русская культура не есть “владение” тех,
кто эту культуру “делает”...»* 5

ПУБЛИЦИСТИКА

- Эмил ДИМИТРОВ.
Возможен ли русский Сорос? 6

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- Наум БАСОВСКИЙ.
Стихи разных лет.
Вступление Ал. Ревича 16
- Инна ЛИСНЯНСКАЯ.
На крылечке 27
- Всеволод ИВАНОВ.
Чудо актера Смирнова 51
- Владимир НИКОЛАЕВ.
Тайны придворной летописи.
Документальная повесть. Окончание 59

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

- Ольга ПАНЧЕНКО.
Большой пардон. В Москву, в Москву... 97

Виктор КУЗНЕЦОВ. Мой друг Еркин...	104
---------------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Осип ЦАДКИН – Ариадна ЧЕМЕСОВА. «Заколдованный цветок папоротника...»	111
Светлана ЗАВАДОВСКАЯ. «Пески пустынь укроют след...»	153

НАСЛЕДИЕ

Павел ВИСТЕНГОФ. Андрей Николаевич Карамзин	168
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Александр ГОРЯНИН. Две России. Б.С. Пушкарёв. Две России XX века. Обзор истории 1917–1993. Москва. «Посев». 2008	194
--	-----

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Алексей ПЯТКОВСКИЙ – Александр ДАНИЭЛЬ. Воспоминания о Самиздате	
---	--

Коротко об авторах

Содержание томов №№ 229–232, 2009

Обложка художника Н. Мишаткина

*Эмблема – «Парус»
Художник И. Иогансон*

*Русская культура не есть «владение» тех,
кто эту культуру «делает»,
не есть «удел» государства и правительства,
а в известном смысле
не есть даже собственность русских как таковых.*

*Русская культура принадлежит человечеству,
и она такая, какая она есть,
единственно в своей всемирной открытости
и разделенности.*

*Поэтому – и наша забота о ней;
и в этом деле «несть еллина и иудея...»*

Эмил Димитров

ПУБЛИЦИСТИКА

Эмил Димитров

Возможен ли русский Сорос?*

Пора – уже давно пора! – сделать необходимые шаги к выработке программы поддержки русской культуры и русского языка за рубежом.

Зачем и как это нужно сделать?

Следует сразу же оговориться, что в своих идеях, пожеланиях и рекомендациях я исхожу не из умозрительных идей, а из личного опыта общения с русской культурой – и соответственно – с ее деятелями; вот почему многое могу сказать «изнутри», указать на «болевые точки» и предложить практические решения.

Время выпренных и высокопарных слов о «дружбе» и «традиции», слава Богу, безвозвратно ушло. Традиция работает не сама по себе и не через «заклинания», а через выработанные механизмы передачи традиции и через продуктивное общение людей, «носителей» традиции.

Почему нужен «русский Сорос»? Сделаю небольшое отступление.

Вместе с распадом империи в самом начале девяностых годов, распались и налаженные этой же империей механизмы

* В журнале «Знамя» (№ 8, 2008 г.) напечатан предварительный вариант статьи. – *Ред.*

культурного обмена, «спроектированные» для поддержания заложенных системой «идей» пропаганды и приоритетов.

Среди идеологического хлама и шумихи о «вечной дружбе» было, разумеется, и нечто хорошее – почти неограниченное поступление русских книг, во многом компенсирующее естественный «дефицит» книгоиздания небольшой страны. Результаты активного книгообмена часто были противоположны ожидаемым со стороны управляющих; тут много интересного, подчас и курьезного, о котором можно и стоило бы рассказать и отдельно.

Вместе с Советом Экономической Взаимопомощи улетучилась и «Межкнига», доступ русских книг в Болгарии прекратился, но потребность в них осталась. «Кризис общения» требует нетрадиционных «жестов»; бывают моменты, когда человек в одиночку может – и должен! – взять на себя груз ответственности за судьбу отношений между странами и культурами. Сказалось знание и влияние Достоевского: понимание того, что человек ответственен за судьбу мироздания, следовало проверить «живой жизнью»; уже достаточно было толковать о «деятельной любви», нужно еще такую любовь проявить.

После упорной, непростой работы, в начале девяносто третьего с колоссальным успехом в Софии прошла первая выставка-базар русских книг под названием «Россия в ее книгах», за которой последовали выставки и в других городах страны.

Не буду подробно рассказывать о десятилетней деятельности; лишь перечислю основное из сделанного: организация уникального в Болгарии книжного гуманитарного магазина имени Достоевского; подготовка, издание, презентации и распространение книг русских ученых и мыслителей в издательстве «Славика»; организация круглых столов и конференций; разработка образовательных проектов.

Вся эта деятельность была широко отражена в средствах массовой информации Болгарии – в одних лишь печатных изданиях ей были посвящены свыше пятидесяти публикаций.

Вот почему все это пишу: за свою более чем десятилетнюю деятельность «в миру», основная часть которой была обращена к русской культуре и к русско-болгарским культурным связям, я *никогда*, ни за что, ни при каких обстоятельствах, при реализации ни одного из множества «проектов», не мог рассчитывать ни на какую поддержку со стороны какой бы то ни было русской организации. Все мои попытки получить такую поддержку были тщетными.

Не составляет чести России то, что даже публично взятые на себя обязательства со стороны официальных лиц, не выполнялись.

Разительный пример: еще в девяносто третьем году лично посол России в Болгарии господин Александр Авдеев (потом он стал заместителем министра иностранных дел РФ) заявил: «Я хочу выразить свою признательность господину Эмилю Димитрову за организацию этой столь необходимой выставки. Наше посольство и торгпредство готовы оказать ему помощь...»*.

Никакой помощи не было, все обещания были благополучно забыты. После организации второй, еще большей по объему выставки, я был вынужден публично выразить свое удивление, даже потрясение от того, что «официальные представители такой страны, как Россия, могут себе позволить так легко проигрывать шансы культурного влияния за границей»**.

Увы, мой опыт и в последующие годы, вплоть до конца две тысячи третьего, не изменил мои впечатления о том, что «лица России» – те же, с «нетронутым пропагандно-чиновничьим способом мышления».

За все эти годы я так и не нашел ответа на простой, «детский» вопрос, задаваемый мне много раз: «а почему Ваша деятельность не пользуется поддержкой русских институтов?» И это при том, что в Болгарии публично и не раз высказывались мнения, что «Вы показываете России, какой должна

* Култура, София, 1993, № 6, 5 февраля.

** Култура, 1993, № 33, 13 августа.

быть ее культурная политика», «Своей деятельностью Вы меняете образ России», и прочее.

Иногда средства массовой информации Болгарии не скрывали своего раздражения от неестественной ситуации. Вот, например, что писала популярная софийская газета «Сега» («Сейчас») по поводу выхода в свет болгарского издания «Диалектики мифа» Лосева, подготовленное и изданное мною с предисловием А. А. Тахо-Годи: «Почему мы должны благодарить Сороса за эту книгу? Каверзная сложность этого вопросика адресована братушкам и ни к кому другому»*.

Да, действительно: за все годы деятельности я мог рассчитывать на поддержку почти *единственно со стороны Фонда Сороса*, притом – именно при подготовке своих «русских» изданий, получивших потом всеобщее признание**...

Ситуация, действительно, весьма неестественная и странная. Для наглядности попросим русского читателя представить себе ситуацию, при которой какой-нибудь из русских олигархов платил бы за то, чтобы издавали в Перу, скажем, сочинения Мишеля Фуко. Из нашего далека это кажется совершенно немыслимым и непредставимым...

Итак, возможен ли «русский Сорос»?

Увы, если мы будем искать буквальное русское соответствие, то ответ должен быть однозначно отрицательным. Нет никаких признаков, что кто-то из крупных русских бизнесменов или финансистов станет вдруг поддерживать русскую культуру – в стране или за рубежом в нужных масштабах; для этого, как в случае с Дж. Соросом, нужно единство в одном и том же лице финансовых возможностей, высокой культуры мысли и наличие «идеи». Ждать «чуда», мгновенного перерождения или преображения олигархов, не приходится.

* № 222 (1802) от 32 сентября 2003 г.

** См., например «Евангелие от русофила» – Литературная газета, № 44 (5764), 3–9 ноября 1999 г.

Будущее русской культуры в мире не может зависеть от случайности.

Как быть? Пытаясь решить задачи настоящего и будущего, нужно, как кажется, изменить формулировку двух сакраментальных русских вопросов, а именно: вопрос «что делать?» переформулировать на **«как сделать?»**, а «кто виноват?» – на **«кто отвечает?»**

Попробуем ответить на эти два вопроса. Но сначала нужно, по-моему, договориться вот о чем.

Нужна *новая* гражданская структура – **Фонд поддержки русской культуры за рубежом**. Ясно и то, что он должен быть самостоятельным и полностью независимым от всех старых, «неподвижных» структур, полученных Россией в наследство от Советской империи. Для того, чтобы Фонд был бы эффективным, в своей деятельности он не должен руководствоваться какой-нибудь новой (то есть хорошо забытой старой) идеологией: славянофильство, евразийство и прочее. Фонд должен предлагать возможности для реализации *разных проектов*, а не навязывать свое «видение» России и русской культуры. Говоря другими словами, следует исходить из наличия множества различных образов России, и Фонд должен *поддерживать*, а не ограничивать или стеснять это разнообразие. Фонд должен будет пойти навстречу разнообразным – но, понятно, не всем! – инициативам «извне»; эти инициативы будут вызваны самим существованием Фонда, *возможностью реализации* проектов.

Разумеется, у него будут свои приоритеты и программы; ничего страшного и в том, если он, например, последует за практикой часто упоминаемого тут Фонда Сороса изготовления рекомендательных – но вовсе и не обязательных! – списков книг для издания и перевода. Есть международный опыт, им можно воспользоваться, не нужно каждый раз все заново выдумывать.

И вот что еще нужно иметь в виду.

Справедливо или нет, но по разным причинам образ России за рубежом сильно подпорчен. Немало людей в разных странах – и вовсе не «патологические русофобы», каких я, честно говоря, даже не встречал и не видел, относятся с по-

дозрением к «деяниям» российского государства. С реальностью следует считаться, а не объявлять ее несуществующей.

Судя по всему, государство уже понимает значение «привлекательного образа» России за рубежом; нам, однако, позволительно усомниться в эффективности дорогостоящих и малоэффективных PR-кампаний по выработке такого образа.

В интересах русского государства всячески поддерживать Фонд, но оставаться «в стороне» от него; Фонд лучше может справиться с некоторыми важнейшими для русского государства задачами, потому что будет исходить из иных предпосылок – не изобличать или громить зарубежных «врагов», а *искать друзей*. Нет и не может быть образа России лучше и привлекательнее, чем образ ее культуры. Повторяем: следует не бояться или сторониться, а *поддерживать множественность образов русской культуры* – и в стране, и за рубежом.

Наверное, даже и не стоит напоминать о том, что деятельность Фонда должна быть прозрачной и подчиняться ясным и известным всем правилам. Фонд не должен контролироваться государством, но обязан отчитываться *перед обществом*.

Как мне кажется, для создания *Фонда поддержки русской культуры за рубежом* нужны совместные усилия, союз – «симфония», сказали бы в старину, – государства, общества и бизнеса.

Разумеется, трудно судить со стороны и давать идеи и предложения, как нужно организовать такой Фонд, невозможно (да и не нужно) «выписать» заранее рецепт, «алгоритм» его создания.

Нельзя, однако, не подумать об *общественном* характере Фонда. Удачно было бы сформировать Международный общественный совет, состоящий из авторитетных ученых, писателей, деятелей культуры разных стран, связанных с русской культурой; совет являлся бы притягательным «лицом» и «визиткой» Фонда и гарантом его независимости.

Общество в лице научных и творческих объединений должно предложить выработку правил функционирования Фонда и быть генератором идей его деятельности.

Ключевым вопросом любого Фонда, разумеется, является вопрос финансирования. Государство может сыграть свою роль при его создании. Оно в состоянии выработать правила, по которым крупный бизнес может быть заинтересован в принятии на себя основной доли финансирования.

Тут следует заметить, что уже не воспринимаются «объяснения» типа того, что, мол, трудно стране, что не время думать о таком Фонде и прочее. Россия окрепла, а у русского бизнеса есть уже хорошие позиции во многих странах.

Так, например, в Болгарии «Лукойлу» принадлежит крупнейшее предприятие – нефтеперегонный завод в Бургасе, сеть автозаправочных станций, огромная недвижимость и прочее. Очевидно, что Россия сама в состоянии позаботиться о влиянии русской культуры в мире. Если безотлагательно не будут предприняты нужные шаги в этом направлении, то, боюсь, будут потеряны еще больше «мест обитания» русской культуры, а «разрыв времен» и поколений станет уже необратимым.

Какие должны быть приоритеты Фонда, что он должен поддерживать?

Во-первых, нужна поддержка *встреч и общения* – установление и восстановление прерванных связей с русской культурой и ее институтами, поддержка «коммуникации» с ней, научных и культурных встреч – конференций и симпозиумов, посвященных проблемам русской культуры в отдельных странах, вопросам ее рецепции и влияния, взаимодействия с другими культурами.

Во-вторых, необходимо поддерживать *научные исследования и изыскания* – изучение русской культуры за рубежом, поиск и изучение архивов русской эмиграции, изучение взаимодействия других культур с русской культурой.

В-третьих, нужна поддержка культурных «*жестов*» и «*продуктов*»: издание книг русских классиков – писателей, мыслителей, ученых, книг современной русской гуманитарной мысли, книг зарубежных исследователей в области русистики. И прочее.

Фонд может – и должен! – привлечь к своей деятельности молодых людей, не обремененных грузом предрассудков, воспоминаний и ностальгий. Тут, однако, следует обязательно иметь в виду и немаловажное требование к кандидатам на работу: блестящее владение языками тех стран, в которых они будут трудиться; так, например, в болгарском «отделении» Фонда должны работать квалифицированные специалисты, владеющие болгарским языком, знающие литературу и культуру, в сербском – специалисты по сербскому языку и так далее.

Одна из причин неэффективности русских культурных институтов за границей – то, что работающие в них люди владеют только русским языком и им по большому счету безразлично, где, собственно, они работают: в Болгарии, Румынии или Чехии.

Впрочем, ради полноты истины следует заметить, что за последний год-полтора, после написания основного текста данной статьи в январе две тысячи седьмого года, наметились некоторые сдвиги в данном направлении, что дает определенные надежды.

О каких переменах идет речь?

Во-первых, в июне две тысячи седьмого года указом Президента Российской Федерации «в целях популяризации русского языка» был создан Фонд «Русский мир»; таким образом часть поднятых нами проблем как бы снимается. Язык – важнейший ингредиент культуры, ее «скелет», а изучение языка «втягивает» в орбиту соответствующей культуры. Следует, что следует приветствовать нужное и своевременное дело по поддержке изучения русского языка за рубежом, а то, что узнаем о деятельности Фонда, внушает надежду.

Во-вторых, за рубежом тоже наметились некоторые «сдвиги». Так, например, в Болгарии, в связи с столетием Освобождения страны, прошел «год России»; годовщине посвящен и открытый в Софии новый «Памятник победителям».

Все это – хорошо, конечно, но тут все же речь идет об официальных мероприятиях, предмете договоренностей на высшем государственном уровне. Намного более важен и

символичен, по моему, другой культурный «жест»: в две тысячи седьмом году, в небольшом курортном городке Выршец, по инициативе *общественности* и верных почитателей, был открыт памятник Владимиру Высоцкому – второй памятник актеру и поэту за рубежом.

Знаменитый русский бард любил Болгарию: здесь он не был под запретом, наоборот – его встречали с восторгом, свободно делались записи и издавались грампластинки еще при его жизни. Памятник – кристаллизация, материализация разделенной любовной памяти.

Смеем надеяться, что все эти новые моменты – знаки возвращения к «нормальности», к «обыденному», не требующему жертв и героических жестов, обмена ценностями и «продуктами» между двумя связанными славянскими культурами.

Но чтобы этот важный процесс не находился в жесткой зависимости от политической и прочей конъюнктуры, от соизволения и великодушия сильных мира сего, нужны разнообразные *общественные* структуры, среди которых, повторяю, особое место принадлежит фондам – именно они *в первую очередь* должны поддерживать инициативы за рубежом типа той, о которой только что я сказал.

Возможно, лишь одному фонду не под силу разрешение разнообразных задач поддержки русской культуры за границей: пусть таких фондов будет побольше, с разной их «специализацией», «целевой группой» и источником финансирования. Формально нацеленные на «зарубежье», эти фонды в действительности работали бы на Россию, точнее – на ее *image*, на узнавание ее лица и лика, на продуктивное общение России с миром. А общение – условие и знак культурного здоровья.

При этом не нужно выдумывать себе не только врагов, но и друзей; наоборот, нужно искать непредубежденных и равноправных деятельных партнеров, а чтобы найти их, следует начисто позабыть о «прекрасном» советском прошлом.

И еще. Пора смириться с мыслью, что работу нужно начать как бы с нуля: никто ничем не обязан России за ее «прошлые

заслуги», равно как и Россия не должна, скажем, поставлять нефть и газ бесплатно в качестве некоторой компенсации за «второе южнославянское влияние»...

Все-таки, как контрапункт к сказанному, следует добавить, что в известной степени и до некоторой предельной точки, традиции работают как бы «за спиной» людей, стран и правительств, что культурные установки и «предрасположения», близость языков и многовековое общение литератур и культур – тоже реальность, которую никак нельзя «отмыслить».

В конце я бы осмелился посоветовать своим русским друзьям и коллегам перестать жаловаться на то, что, мол, «там нас не любят»; это, по-моему, и неверно, и не так уж важно. В духе Канта можно добавить, что нужно быть и «достойными любви».

Нет и не может быть «закона любви» к России и русской культуре. Если я люблю Достоевского, например, то я имею право недолюбливать Добролюбова. Или если я люблю русскую культуру как таковую, то я имею право не любить русскую не-культуру – опять же «как таковую».

Ни у кого нет права выбирать вместо меня, *что* любить в русской культуре и *как* именно ее любить. Любовь не бывает «правильной» или «неправильной», не может быть даже «настоящей» или «поддельной». Любовь – выражение свободы личности, она «своего не ищет» (1 Кор. 13:5) и не нуждается в постороннем соизволении или приговоре.

Русская культура не есть «владение» тех, кто эту культуру «делает», не есть «удел» государства и правительства, а в известном смысле, не есть даже собственность русских как таковых. Русская культура принадлежит человечеству, и она такая, какая она есть, единственно в своей всемирной открытости и разделенности.

Поэтому – и наша забота о ней; и в этом деле «несть еллина и иудея...»

Болгария
София

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Наум Басовский

Стихи разных лет

Давным-давно о стихах Наума Басовского я написал: «Стихи Наума Басовского поразили меня своей неожиданностью и простотой, неожиданной простотой, где сложности куда больше, чем в замысловатых сочинениях многих сложнописцев: за простым и скупым российским пейзажем, единственным и неповторимым, пронизанным ветром и дождем, угадывается пророческое предчувствие скорого расставания с этим пейзажем, и климатом, и нескладной судьбой в России.

Черная, отходящая от острова лодка – это будущая дальняя дорога, река, о которой Басовский напишет «наобум две протяжные строчки». И какие! Он напишет о молчании, в котором «все года и года, и слеза, и гудок, и речная вода».

Как это все емко, куда больше и значительнее слов. Слова в стихах Наума Басовского, говоря языком Михаила Бахтина, «раздвоены», имеют двойное звучание, многозвучны, как должно быть у крупных художников. Время и пространство в поэзии Басовского также неоднозначны. Здесь много времен и пространств, пересекающих друг друга... Это не прием, не метод, даже не стиль. Это органический способ жить на свете».

...Точнее я сказать неспособен о замечательном поэте, который во многом для меня загадка.

Александр Ревич

* * *

*Нужно так уходить, чтобы что-то осталось,
чтобы было куда возвращаться потом.
Это может быть даже и самая малость,
как скамья под рябиной на взгорье крутом.*

*Нужно так уходить, чтобы что-то светилось,
даже если опустится долгая мгла, –
чтобы память однажды явила бы милость
и старинный фонарь над дорогой зажгла.*

*Нужно так уходить, чтобы что-то звучало –
половица в прихожей, флажок жестяной, –
чтобы флюгер помог возвратиться к началу,
если путь завершился глухою стеной.*

*Он не станет простым и не станет положим,
но в доме, где сегодня ночлег твой и стол,
важно знать, что хоть кто-нибудь
ждёт на пороге,
от которого ты безвозвратно ушёл.*

Июль 1980

* * *

*Чёрная лодка уходит от острова,
в утреннем свете вода словно льдистая,
лёд подрезается вёслами острыми,
друг уезжает – прощай, мой единственный.*

*Небо всполошено белыми чайками,
в елях запутались крики унылые,
чёрная лодка от камня отчалила –
это любимая остров покинула.*

*Снова по озеру рябь осторожную
небо закатное золотом выткало.
Чёрная лодка вернулась порожняя –
снова кому-то прощание выпало.*

*В дальнем углу у церковного остова
бабка соседская молится истово...
Скоро один я останусь на острове
с воплями чаек и с тёмными избами.*

*Крышу худую не буду высмаливать
или ограду достраивать в панике –
чёрную лодку я стану высматривать,
дату за датой теряя из памяти...*

Июль 1981

* * *

В.

*Напишу наобум две протяжных строки,
две протяжных строки, как течение реки,
как течение реки, где вода широка
и куда ни гляди – всё река и река.*

*А потом напишу две печальных строки,
две печальных строки, как движение руки,
как движение руки по любимой щеке
у ресниц, где слезинка дрожит в уголке.*

*И возникнут в тиши две тревожных строки,
две тревожных строки, как на рельсах гудки,
и огни, и бессонная ночь у окна,
а дорога темна, а дорога длинна.*

*И тогда напишу я две тихих строки,
чтоб молчали они, как молчат старики,
а в молчании том всё года и года,
и слеза, и гудок, и речная вода...*

Июнь 1982

* * *

*Вдох и выдох кратки, а вода бездонна,
и размыты веки в медленной судьбе...
Ранняя дорога из родного дома,
поздняя дорога к самому себе.*

*На дороге этой ночи и рассветы,
красные барханы, розовый прибой,
ранние паденья, поздние победы,
ранние измены, поздняя любовь.*

*Только время мчится горною рекою,
только время мчится, обещая мне
ранние болезни к позднему покою,
позднее признание к ранней седине.*

*Равно без восторга, равно без боязни
я смотрю в зеницы счастьем и беде.
Это свет мой поздний – он уже не гаснет,
лунною дорожкой льётся по воде...*

Февраль 1987

* * *

*Редко вражда наотмашь – всё больше мелкие пакости;
редко и дружба настезь – всё больше застольный шум.
Чем дольше живу на свете, тем меньше нуждаюсь в пафосе:
простые слова и фразы всё чаще идут на ум.*

*Слова из первого ряда, речи каркас несущий;
рядом с ними эпитет стал для меня нелеп.
Зрение, слух, обоняние не волнуют ни хлеб насущный,
ни вода ключевая, –
а просто вода и хлеб.*

*Не вековая дорога, что будущее пророчит,
и не песок раскалённый, где жаром бьёт по глазам,
а просто песок, дорога, солнце, – ещё короче –
лишь назову: пустыня, – каждый заполнит сам.*

*Не иссушающий ветер и не дождь освежающий –
просто смена погоды дня подведёт итог;
и, посмотрев назад, просто скажу: пожарище;
и, вперёд посмотрев, просто скажу: дай Бог...*

Январь 1993

* * *

*Белые плиты, серые плиты,
чёрные плиты солнцем облиты.
Страсти, победы, беды, обиды
ждут за оградой, тихо скуля.
Тёмные кроны. Тени на плитах.
Нет именитых, нет знаменитых.
Длинный,
 спокойный,
 медленный свиток —
прах поколений держит земля.*

Нет именных, нет знаменитых,
нет сановитых – делится свиток
лишь на забытых и незабытых,
всё остальное – просто слова.
Падают башни, рушатся стены,
сонмы героев сходят со сцены,
плиты ложатся так постепенно,
так постепенно всходит трава.

*Вот и проходит время земное.
Как это странно – стать перегноем,
чтобы на почве, воспоённой зноем,
рос виноградник, овцы паслись!..
Время стирает знаки на плитах –
и на базальтах, и на гранитах.
Лишь раскалённый золота слиток.
Лишь голубая вечная высь.*

Сентябрь 1997

Караван

*– Поторопи верблюдов, проводник!
Смотри – передний головой поник:
шестые сутки не даём воды им.
Пешком и в месяц не пройти пески;
падут верблюды – от ночной тоски
увянут наши жёны молодые.*

*Мне отвечает мягко проводник:
– Совсем неподалёку есть родник,
который слух Господень услаждает.
Да, господин, – верблюды могут пасть,
но пусть пустыня разевает пасть:
кто не рискует – тот не побеждает!*

*И он ударил пяткой вожака,
и тот раздул опавшие бока
и побежал, шатаясь, будто спьяну.
И шёл от жажды пьяный караван,
замедленно взбираясь на бархан,
чтоб опуститься к новому бархану.*

*Подъём и спуск, и так десятки раз,
и длинный день в конце концов угас,
и сразу же рассвет зажёгся новый,
и мы почти в беспмятстве ползли, –
и тут, казалось, прямо из земли
возник гортанный клёкот родниковый.*

*И, по закону первым, проводник
к воде одним движением приник –
и отошёл: ему глотка хватило.
Верблюды пили, пили седоки,
а я на расстоянии руки
стоял,
и солнце мне в глаза светило.*

*Все смаковали воду, как вино,
лишь я не пил – мне было всё равно,
что там потом со мною приключится.
Наверно, я рехнулся по пути,
и, если к цели суждено дойти,
мне никогда к себе не возвратиться.*

*Я был иным, пускаясь в этот путь;
восторженной души мне не вернуть –
её убили спуски и подъёмы.
Зачем же я мечты свои копил?
Зачем же я верблюдов торопил?
Чтоб молча постоять у водоёма?!*

*Пройти пустыню – и такой итог!
Я наклонюсь и сделаю глоток,
чтоб вымолвить единственное слово,
и тихо скажет мудрый проводник:
– Ты видел жизни настоящий лик –
на этом свете не найти другого.*

*Его рука, суха и горяча,
легко коснётся моего плеча,
и я ему скажу на грани слома:
– На горизонте городок возник, –
поторопи верблюдов, проводник,
чтоб на закате оказаться дома.*

Июнь 2000

* * *

...и этот дом на снос, и новые стропила...
Александр Ревич

*И дом на снос, и новые стропила
почти рутинны в наши времена.
Из сердца вон, что сердцу было мило:
где, по преданью, дедова могила,
растёт многоэтажная стена.*

*Но и на ней заметны знаки тлена –
чем краше зданье, тем они видней.
И только то, что изначально бренно,
оказывается прочней, чем стены,
и долговечней тёсаных камней.*

*Всего-то дел – бумага да чернила,
и незаметны сила и замах,
но – дом на снос и новые стропила, –
как видно, есть особенная сила
в особенно поставленных словах:*

*с площадки допотопного трамвая
ступая на булыжник мостовой,
и сладко пахнет липа вековая,
дом не снесён, и бабушка живая,
и живы все, и даже дед живой!..*

Сентябрь 2001

* * *

*У самого дома качнулась под ветром берёза,
и скрипнула мягко, и скрипом откликнулась дверь.
Далёкий протяжный печальный гудок паровоза –
и вновь тишина, и до ночи ни звука теперь.*

*И вовсе неважно, родятся стихи или проза:
душевным сомненьям ты ищешь неспешный ответ,
когда камертонно протяжный гудок паровоза
звучит и звучит, а состава давно уже нет.*

*Явление ритма – оно наподобье наркоза,
в нём шорох степи и дыхание тёплых морей.
Далёкий протяжный печальный гудок паровоза –
вот всё, что осталось от родины горькой моей.*

*Давно ни берёзы, ни дома у кромки откоса;
укромная память, над рельсами вновь не кружись!
Звучит камертонно прощальный гудок паровоза –
пространство и время и вся отзвучавшая жизнь...*

Октябрь 2002

Инна Лиснянская

На крылечке

Письмо Дмитрию Полищуку

Дорогой Дима! Павел Нерлер и Николай Поболь, задумав издать книгу, посвященную памяти Семена Израилевича, обратились ко мне, – не напишу ли я воспоминания. Это было почти три года тому. Но тогда рана была так свежа и так глубока, что из нее могли хлестать, рваться толчками, сочиться только стихи, любящие, скорбящие, помнящие и надеющиеся на посмертную встречу. К тому же у меня еще при его жизни была написана прозаическая вещь «Хвастунья», где Липкин – главный герой, если не считать самой хвастуни, то есть меня. И когда, Вы, Дима, вновь попросили меня вспомнить еще не вспомненное, я сослалась на уже написанное мной о характере и быте Семена Израилевича в моем «моноромане». И думалось мне, что вспомнить дополнительно я ничего не смогу.

Но вот, когда для меня три года без любимого человека и поэта превратились не в календарное времяисчисление, а в вечность, я задумалась. Но если все-таки вернуться к условности, я имею в виду календарное время, то многое вспоминается иначе...

...Третью зиму я провожу у своей дочери в Иерусалиме, куда мы с Липкиным по приглашению мэра города приезжали для выступлений в Тель-Авиве и Иерусалиме. Жили в

иерусалимской гостинице Мишкенот Шеананим, что в переводе на русский – Дом для блаженных. В этой роскошной гостинице он, действительно, блаженствовал после довольно трудного периода жизни. Особенно по вечерам любил выходить на длинный, общий для всех проживающих, балкон.

Проживающих мы на нем не видели. Не потому, что перед нами открывался под звон вечерних колоколов непередаваемо красивый вид на Старый город с его минаретом и храмами, а потому, что проживающие возвращались в гостиницу слишком поздно.

Он почти допоздна не уходил с балкона, на котором собиралось не меньше семи-восьми кошек. По-моему, ему здесь и только однажды в жизни понравились кошки, а так он их не любил, видел в них нечто вкрадчиво-предательское.

Восхищался, что любит сразу тремя типами огней, разноцветными и многоступенчатыми огнями города, которые в Иерусалиме же и воспел в стихах, крупно-синими звездами и пронзительно-зелеными кошачьими глазами. А еще повторял, что жить он хочет в России, а умереть в Израиле.

Повторял, так как неоднократно говорил об этом в семидесятые-восьмидесятые годы, когда началась эмиграция евреев. Это предлагалось нам и властями, не желающими терпеть людей, добровольно вышедших из Союза писателей, можно сказать, из дворца переселившихся в подвал. Но властям, конечно, Липкин своей мечты не высказывал. Он этой мечтой отвечал на вопросы как уезжающих евреев, так и русских друзей, мол, почему бы не уехать из страны, где тебя лишили права на профессию и где подвергаешься опасности, почему не уехать в свободный мир, где уже выходят твои книги и где тебя никто не тронет?

«Хочу жить в России, а умереть в Израиле», – почти неизменно отвечал Липкин. Он вообще был большим мечтателем, иногда почти утопистом. Так вот жить в России, а умереть в Израиле и было одно из его несбыточных мечтаний. Сам же он утопией считал свою мечту быть читаемым поэтом после смерти. И редко мои слова восторга перед его

поэзией принимал всерьез, а все же было приятно слышать похвалы.

И вот сейчас я вновь, как в своем предисловии к посмертной публикации стихов Липкина в журнале «Знамя» об архиве поэта, повторю поразительную по правдивой простоте мысль Ахматовой: *«Когда человек умирает, / Изменяются его портреты»*. Что собственно меняется в портретах? Главным образом, наше отношение к умершим. Пока человек жив и с нами, мы замечаем много всяких черт – и крупных, и мелких. Когда человек умирает, то память становится гиперболой, если речь идет о значительной личности.

Вот ушел он, и куда вместе со смертью подевались некоторые мелочи в его характере? Куда подевались мои жалобы на эти мелочи? И это вовсе не пошлость наподобие «нет человека – нет проблемы», – вот и вспоминается радужно. Просто смерть сбрасывает всю шелуху с прожитой жизни, если ее проживает душа высокая и целомудренная, каков и был Семен Израилевич. Для меня он всегда был Сёма, а теперь почти неизменно я его и в разговорах, и в письмах называю по имени и отчеству. А все потому, что изменился его портрет, укрупнив крупное.

Я это письмо пишу Вам, Дима, поскольку Вы чаще кого бы то ни было из друзей три года с двухтысячного приезжали к нам на дачу и подолгу разговаривали с Липкиным. Помните, я бывало, жаловалась на него, – дотошно точен, все по минутам, меня от себя ни на шаг не отпускает, ревнует ко всем, даже к моему брату.

А ведь не приходила в голову простая мысль, ибо я ее страшилась, – он чувствовал и понимал, что недолго ему осталось и нуждался в постоянном моем присутствии. Нет, не для того, чтобы я его поддерживала при ходьбе, а по призыву его старшего приятеля поэта Александра Кочеткова: *«С любимыми не расставайтесь!»* А бывало, что греха таить, я раздражалась порой на свою подневольность, хоть и виду не показывала.

А теперь всегда, даже в данную минуту, сидя на полукруглой каменной скамье напротив фонтана возле Мишкенот

Шеананим, думаю лишь обо одном – вот бы вдруг, как бывало в том ноябре, появился неожиданно Семен Израилевич, как он любил, возвращаясь с прогулки. Боже ж Ты мой милостивый, как была бы я счастлива – пускай бы на мгновение от себя не отпускал, пускай по двадцать раз повторял одни и те же рассказы, ссылаясь на то, что Лев Толстой тоже повторялся. Это все я описывала в «Хвастунье», весело замечала его мелкие недостатки, подтрунивала над ними. А это все шло от счастья.

Потому что только, когда теряем счастье, осознаем, что были счастливы. Так счастливы, что позволяем себе посмеиваться над любимыми. Кто знает, может быть сам Господь, творя человечество и любя свои создания, посмеивался над делом рук своих...

Посмеивалась я над ним в «Хвастунье» за то, что он все поучал меня держаться с ахматовским достоинством. Теперь я понимаю, что он просто по многим поводам любил говорить не только о стихах Ахматовой, но и имя ее произносить. Да, когда умирает человек, изменяются его портреты. И для него изменился портрет поэта, написавшего две эти строки. А ведь при жизни Ахматовой он, признавался мне, за глаза называл ее старухой, грубил Марии Петровых по телефону: «Старуха мне надоела, все время вызывает к себе: надо – не надо»!

Но умерла Ахматова и умерли в сознании Липкина все мелкие мелочи, раздражавшие его. Портрет изменился – это была уже Ахматова в нимбе ясного света вокруг крупного лица, где ни пылинки. И даже когда он, бывало, говорил, что Ахматова искусно выстраивала свой образ, он нежно отсылал меня к строке Пастернака: *«Ваше право, так надо играть»*.

Но сам он и как человек и как поэт никогда не играл, разве что принижал себя несколько, рассуждая о своих стихах, однако был совершенно уверен в том, что высказал именно то, что хотел выказать. Его всегда мучило не что он сказал, а как, с какой мерой художественности. Пытался ясно осмыслить любое событие, любую частность жизни и с той же ясностью донести обдуманное до читателя.

А почему ему так нужна была четкая досказанность? Говоря его строкой, «*Чтоб остаться как псалом*». А в наше безумно-перестроечное время, в девяносто пятом году в стихотворении, посвященному Василию Гроссману, мечтал:

*Когда безумие воинственно,
А в сердце тьма и пустота,
Как нам нужна простая истина –
Таинственная доброта.*

*Когда мы заняты раструскою
В родной стране, в умах, в быту,
Как ты, я верю только в русскую
Бессмысленную доброту.*

О своем друге Гроссмане мог говорить часами, как и о других своих многочисленных друзьях, особенно умерших. Но и недостатки их от себя, да и от меня не скрывал, хотя портреты и изменились. Помню, с каким достойным, еле сдерживаемым ликованием говорил мне он о своей убежденности в том, что своими настырными разговорами столкнул таки Васю с «советских рельс».

Из-за этого сталкивания с «советских рельс» однажды между ними произошло охлаждение.

Они стояли на утесе над Волгой. Гроссман приехал в Сталинград в дни, окончившиеся Победой, и что-то стал говорить о роли партии в Сталинградской битве и рассердился на Липкина за его настойчивое возражение: «не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ».

Эту фразу я запомнила дословно из-за мысли, что сам Господь Бог вселился в народ. Но впоследствии Гроссман, не будучи религиозным и думающий, что Сталин извратил Ленина, как думали многие интеллигенты, согласился со своим младшим другом. И дальше пошел, написав «Все течет». И Липкин по-детски радовался, считая, что благотворно повлиял на Гроссмана, хотя другим этого не рассказывал, дескать, нескромно.

В своих воспоминаниях «Сталинград Гроссмана» он лишь намекнул на причину недолгой размолвки. Будучи крайне скромным, я бы сказала застенчиво-скромным, ставил себе в заслугу лишь то, что сохранил беловик арестованного органами романа «Жизнь и судьба».

...Сейчас, встав с пригостиничной скамьи, добравшись до компьютера, усевшись за письмо к Вам, хочу написать о последних годах жизни Семена Израилевича...

В конце ноября девяносто девятого года Липкин, наконец, получил от Литфонда дачу, о которой многие годы мечтал и даже устно и письменно просил, хотя никогда ничего не просил у властей.

– Ничего мне не доставалось даром от советской власти, – любил повторять он мне. – Я работал, не покладая рук, и за все платил или расплачивался.

Не хочется мне сейчас вспоминать, как его дурило руководство Литфонда, как сулило дачу и обманывало. Но не могу не сказать, что Липкин грозился написать повесть о руководителе Литфонда, которого он называл новым типом гоголевского Чичикова.

Грозиться грозился, а меня усадил за письмо в Пенцентр, за мою первую в жизни и последнюю письменную жалобу. Я подробно написала, как нас мурыжил и обманывал обещаниями руководитель Литфонда, ссылаясь не на свои решения (он, мол, всей душой за нас), а на якобы нелюбовь к нам писателей – членов Пенцентра, а сам, оказывается, состоял в общественном руководстве Пенцентра.

По просьбе Семена Израилевича я также написала, что если Пенцентр не прислушается к нашим словам, то мы не хотим числиться в организации, один из руководителей которого – человек без малейшего намека на честь и совесть.

Но для чего я об этом? Я ведь намеревалась лишь благодарно упомянуть Андрея Вознесенского и, в особенности, Зою Богуславскую, добившихся дачи для Липкина. Помог и Олег Чухонцев, сказав, что просить надо конкретную дачу и

указал на освободившуюся часть одноэтажного домика, где до самой своей смерти жил Марк Галлай – летчик, Герой Советского Союза, писатель, человек чистый и благородный.

Дом этот стоит неподалеку от музея Окуджавы, впритык к музею находится небольшая дачка Чухонцева и его жены Ирины Поволоцкой. Через дом от нас – дача, на которой жил Анатолий Рыбаков, а сейчас живет наш друг – Наталья Иванова.

Нам понравились и дом и соседство. Эту улицу мы хорошо знали, часто из Дома творчества догуливая до Рыбакова, с которым дружил Липкин и высоко ценил его талант; но на обратном пути добродушно подтрунивая над подробным хвастовством Анатолия Наумовича: перевели его книги на все языки мира, все корреспонденты мира пишут о нем и интервьюируют его и тому прочее.

Надо сказать, именно Рыбаков отговорил нас выходить из Пенцентра, устыжая: «Не делайте такой глупости. Вы уже однажды выходили из Союза писателей, и ваше теперешнее намерение выйти из Пенцентра выглядит дурацким фарсом».

В конце ноября я получила ордер на дачу. Всегда и во всем терпеливый, даже медленный Липкин лихорадочно заторопился, и я не менее лихорадочно начала обустривать дачное помещение. Не будучи хозяйственной, проявила невероятную прыть, конечно, мне помогала в покупках сестра Оля и дежурная в Доме творчества – красавица Марина Красина, предложившая себя в помощницы и по сей день не оставляющая меня своей заботой.

В течение трех недель был сделан косметический ремонт, приобретены некоторые вещи в магазинах, а некоторые – поддержанные и списанные – в Доме творчества. Кое-что перевезено из городской квартиры. Семен Израилевич, естественно, в этом не участвовал, но не по старости лет. А потому – что кроме любимого дела – мойки посуды, в быту был всегда беспомощным неумельцем. Но нет, еще он тщательно протирал тряпкой письменный стол и пишущую машинку «Эрику». Ее

мы на дачу не взяли, – я освоила компьютер и под диктовку писала все нужное для него или выпечатывала из тетрадей.

Когда на даче все уже было приготовлено к его приезду, осталось последнее – взять с собой кресло, сидя в котором он любил смотреть телевизор. Тут он ухватился за подлокотник: «Кресло не забирай!» – «Но ведь тебе оно понадобится, – начала я убеждать, – а такое же из моей комнаты я перенесу в твою». Он убедился быстро, так спросонок убеждаешься, что больше не спишь. У него было такое же выражение лица, как в конце телевизионного фильма о нас, где он недоуменно развел руками: «Куда вы меня зовете»?

А я его в середине декабря уже звала на дачу. Семен Израилевич был доволен всем – и более просторному помещению по сравнению с городской квартирой, и тем, как мы с Мариной все расставили, и светлыми неброскими обоями, и старыми домотворческими занавесями и даже дешевыми, безвкусными светильниками; и тем, как наш давнишний друг Коля Поболь поместил в двух комнатах книжные полки и заполнил их книгами, – они встали приблизительно в том же порядке, что и в городе.

Но особенно, конечно, тем восхитился, что за окном. А за окном зима стояла, как невеста. На небольшом участке пышно кудрявились лиственные деревья, будто радующиеся смене желтого одеяния на белое, искрящееся солнечным морозом. Елки вдоль забора походили на старинных стражников в треугольных блескучих шапках, сработанных то ли из ангорской шерсти, то ли из облаков.

А выдающийся, самый мощный треугольник заснеженной ели располагался, сторожа покой, у самого крыльца. Это крыльцо будет играть огромную роль в последние три года жизни Липкина. Об этом крыльце я постараюсь не забыть в письме.

Новосельный двухтысячный год мы встретили у нас с Юрием Карякиным и его женой Ирой, заглянула и не коротко к нам Наташа Иванова. Карякин долго говорил Липкину о его поэме «Техник интендант», об особенностях

не одного содержания, но и об органичном для этой поэмы свободном стихе и его редкостном ритме. Долго говорить Карякину не о Достоевском, это значит, говорить минут пять. А там, конечно же, разговор перешел на любимого классика, но говорили и об Ахматовой и о Гойе, которым в последнее время Карякины более чем увлечены.

Годы, прожитые Семеном Израилевичем на даче, были по-своему счастливыми, но нелегкими. Здесь его радовала природа, а чему бы он радовался в городе? Ведь он так любил подмосковные прогулки! Правда, они становились все короче, а в зимние дни и вовсе постепенно прекратились – свелись к креслу на крылечке.

Зимой он надевал обширную синюю куртку на гагачьем меху, вымотренную для него Майей, женой Василия Аксенова, у которых мы в восемьдесят девятом несколько дней гостили в Вашингтоне. Но куртки было мало, я укутывала его ноги в плед, и Сёма по часу и по полтора дышал воздухом.

Гораздо больше времени он проводил на крыльце в поздневесеннюю, в летнюю и начально-осеннюю пору. На крыльце он не читал, а наблюдал за лесом, ибо садом наш участок никак нельзя назвать, цветов не сажали, за двумя яблоньками не ухаживали, и они дичали и хирели.

Но все не садовое продолжало цвести и отцветать, – подснежники, одуванчики, незабудки, и как ни странно, – пионы росли, видимо, из благодарной памяти о бывшем хозяине. И из той же благодарности на клумбе под кухонным окном вдруг вылезали то несколько тюльпанчиков, то ирисы. А всю клумбу захватили огромного роста лопухи и выжил растущий по соседству куст жасмина.

Глядя на агрессивный лопух, Семен Израилевич вздыхал, жаль было сада. Вздыхал безропотно, понимая, что садом некому заняться. И вообще его ужасала та агрессивность, с какой в Переделкине богачи-нувориши вкладывали деньги в постройку разнообразных дворцов с эклектичными башенками, огораживались высокими каменными заборами, рубили заповедный лес. Кустом бордово-фиолетовой сирени старый

поэт подолгу восхищался и печалился, когда эти тяжелые гроздья скукоживались. Это о крыльце.

Но ведь до последних дней он и на прогулки выходил. Первый год сам, а после в моем сопровождении. Вообще его возраст главным образом определяла походка. Помню, когда мы в шестьдесят седьмом году познакомились в Малеевке, солидная палка уже имела место, но эта палка с набалдашником в виде головки змеи, служила для него признаком важности, он был важен даже при ходьбе, а не только в суждениях и разговорах. Однако и весел, – и размашисто, по-мальчишески писал змеиным жалом по снегу: «Инна, я тебя люблю».

Лет через двадцать он стал нехотя опираться о свой посох. У него даже одна из поздних стихотворных книг названа «Посохом». А уже в последние шесть лет жизни, крепко держа в руках змеиный набалдашник, осторожно налегал на дорогу...

Дачные прогулки были недалекими. За домом, за ветхим забором уже начинался заповедный лес, на задах дома – корт. В летние месяцы, если не дождь, один или со мной, а в последнее лето при моей обязательной поддержке, он, уже мало надеясь на один только посох, делал полукруг, сначала шел по улице Довженко, на углу сворачивал налево, в переулочек, ведущий в лес, и направлялся к задам нашей дачи, то есть к корту.

Держась за железную сетку-ограду вокруг корта, он, стоя, подолгу наблюдал за игрой; особенно ему нравилось следить, как уже немолодая худошавая женщина учит детей теннису. Черный пуделек преподавательницы облаивал зрителя, но тот не отводил от детей и мячика своих серо-зелено-голубых, в зависимости от освещения, глаз с широкими веками, глаз слегка выпуклых и на редкость внимательно выразительных. Семен Израилевич так пристально наблюдал за игрой, что я иногда шептала ему в ушной аппаратик, мол, неловко так подолгу стоять и так въедливо смотреть, но он, передразнивая меня, отмахивался моим жестом – рукой вниз.

Да, ушной аппаратик уже мало помогал ему. Поэтому корт и дачный участок, где черно-белые с красной грудкой дятлы да пестро-зеленые синицы на деревьях были почти единственными зрелищными, подвижными кадрами.

Из деревьев его больше всего привлекали березы, и когда из четырех две старые, едва держащиеся на корнях, были срублены, то он так горевал, как будто смерть расправлялась с его собственной жизнью. Но и печалился кротко и непродолжительно. Он вообще ничего не требовал и, если жаловался на здоровье, то мне. А на вопросы, как он себя чувствует, шутил: «Ушел из большого спорта», а если было не до шуток, отвечал: «По возрасту».

О том, что у него сильно испортился слух, напоминал, например, Олегу Чухонцеву, говорящему, как правило, тихо. Да, друзьям напоминал, так как было интересно их слушать. А некоторым, случайным людям, лишь головой кивал, дескать, слушаю; кивал, из-за нежелания объявлять о своей глухоте. Из-за этого недуга отказался от телевизора, не расслышивал, когда два голоса, да еще – музыка. А глазеть в экран, не слыша, такое действие его оскорбляло.

Ведь слово для него было главным, а писал в последние три года редко. Все время читал, то что-нибудь серьезное, то – детективы. Из отечественных детективщиков нравился ему один Акунин.

Читал половину дня, исключая часы прогулок и сиденья на крылечке. От длительного неписания он страдал. На свое молчание жаловался лишь мне и очень близким людям. Я, как умела, утешала его, мол, это временно, для поэтов периоды молчания закономерны, и тут же перечисляла эти периоды у Ахматовой, Пастернака и Мандельштама. Ссылалась и на его недавний перевод Гильгамеша – сколько, мол, энергии ушло. И это правда. Шутка ли перевести такое! И не могла я пошутить «Зимянин не звонит», как всякий раз в уже давнее время шутил он, когда я жаловалась, что не пишется. – «А куда тебе спешить, – прекращал мое нытье Липкин, – Зимянин не звонит!» Зимянин был долголетним главным редактором газеты «Правда».

Главным же девизом Липкина было: *«Молчи, скрывайся и таи»*. Более всего он таил от людей свои жалобы, трудности и печали.

Вот и теперь наша помощница Марина Красина вспоминает Семена Израилевича приблизительно в таких выражениях: «Никогда не встречала такого умного и доброго человека. Никогда не канючил. Даже если болел. Всегда побрит и чисто одет. Всегда каждого внимательно выслушивает, вот и о своей жизни я ему рассказывала, а он подбрасывал чуткие вопросы. И ведь ни на что не жаловался! Все ему нравилось, что ни сготовишь. А благодарил-то как остроумно: «Спасибо, Мариночка, Ельцин такого не ел, а как Путин пришел, – Путин такого борща не ел!»

Только однажды, на третье лето, покраснел и признался: «Мариночка, я фаршированных перцев не люблю». А я их раз сто за три лета, наверно, фаршировала. И ни звука недовольства! – Вот лежали вы в больнице, так Семен Израилевич на каждый звонок бежал. Я ему говорила: «Уж лучше и дома с палкой ходить». Но куда там! Любил жизнь, а вас-то, Инна Львовна, как любил, как кричал в телефон: «Инночка, я тебя люблю!». Никогда я в старых людях такой любви не видела».

Тут я ее, обычно перебивала, чтобы поговорить, как восхищался он ее красотой. Марину хлебом не корми, но поговори с ней о ее красоте или кулинарном таланте. И то и другое – чистая правда. И я в который раз начинала о том, как Семен Израилевич любовался ею, когда сидел на крыльце, а она развешивала белье после стирки. Еще бы не залюбоваться ее статной фигурой, пышущей здоровьем, ее стройными ногами – ходила или в шортах или в короткой юбочке; ее высокой соломенной прической над тонкими чертами лица. Марина подхватывала, – да любовался и даже пел.

Сидя на крыльце, Семен Израилевич часто, особенно в последнее лето и осень, напевал. Напевал он старые еврейские песни, слышанные им от родителей, бабушки и соседей. Мотив тех песен, какие я слышала в исполнении сестер Бери, он нещадно перевирал. Музыкальный слух у него был, но

пассивный. Он слышал, когда мелодию перевирает другой, но сам воспроизвести мотива правильно не умел.

Я очень любила часы, когда он начинал свое тихое напевание. Чувствовалось, что он в гармонии со своей памятью, с мыслями о родной Одессе, о своих родных и с самим собой.

Старалась не мешать, но он звал меня и просил, чтобы я спела «Тумбалалайку». Я выучила ради него припев песни, а вот куплеты никак мне не удавались. Тогда Сёма начинал делать дирижерские движения руками и просил петь куплеты по его подсказке. На самой высокой ноте он подымал вверх указательный палец.

А потом начинались наши беседы о родных, о знакомых. О поэтах ушедших и живущих. Об этом я уже говорила, хоть и не подробно в «Хвастунье», лучше всего сам Липкин в своей мемуарной книге «Квадрига» изложил многие свои соображения о литературе и писателях, написал воспоминания о них. Стиль письма в этой книге – плотный, густой, насыщенный мыслями и деталями. В мемуарах он умел отодвигать свою личность в тень так, чтобы она была видна исключительно в необходимых для повествования случаях, подчеркивая свет, исходивший от воспоминаемых, что нынешним воспоминателям, в том числе и мне, не свойственно.

Обычно на крыльце, после пения, мы начинали перебирать в памяти наши две поездки в его родную Одессу. В первый раз мы останавливались в небольшом номере гостиницы «Аркадия» – это то ли близкий пригород, то ли окраина города. Нам не повезло только с номером, именно над ним в ресторане располагался джазовый оркестр. В остальном все было прекрасно: море, Дерибасовская, театр оперы и балета, порт и корабли на рейде, аллея на набережной, обилие акации и рыбы, нарядные щеголи и щеголяющие нарядами упитанные женщины; одесские трамваи.

Мы смеялись, вспоминая, как в одном из них, перед остановкой, сидящий немолодой господин постучал костяшками пальцев, как в дверь, в мой зад: «Женщина, вы выходите?» Еще вспоминали разные смешные эпизоды.

Но серьезным и главным не столько моим, сколько его воспоминанием были православные и католические храмы, синагога. Больше всего мне нравилась греческая церквушка, что сохранилась в целости после стольких атеистических погромов. Она меня привлекала не только тем, что часть стены была расписана розовыми цветами на горизонтально расположенных, толстых зелено-коричневых стеблях, какие я только видела на бакинских стенах в спальне родителей, а тем фактом, что церквушка жива.

А воспоминания Липкина относились к разрушенным церквям, и их я представляла себе лишь по его всегда живым словесным рисункам.

И безусловно – Еврейская улица. На ней мы подолгу простаивали как наяву, так и в воспоминаниях на крылечке. На этой улице он провел детство и юность, называл все имена соседей, вздыхал по умершим или уничтоженным в войну фашистами. Чьи-то дети еще были живы, судя по фамилиям, вывешенным в подъезде, но он стеснялся постучать в дверь, побеспокоить.

Дольше всего мы задерживались перед бывшей квартирой на первом этаже. «Видишь, окно, – говорил мне муж, – это была мастерская моего папы, он в ней шил костюмы заказчикам, в ней же была и спальня родителей и столовая, и как жаль, что я тебе не могу указать на свою комнатнушку, окна нет, она темная. В ней при свечке или при керосиновой лампе, как повезет, я делал уроки и читал Гомера».

Сейчас две поездки в Одессу соединились в одну, о второй я помню, что она состоялась, когда денег уже не было, все Семен Израилевич оставил (и правильно сделал) старой семье после переезда ко мне.

Жили в Одессе мы у его племянницы, которую он любил, и когда готовилась наша с ним общая книга стихов, пожелал дать фотографию во вставку, где мы в его родном городе рядом с миловидной, добронравной Людочкой. Еще помню, что во вторую поездку нас провожал накануне своей эмиграции Юрий Кублановский.

Вспоминали на крылечке мы и Львов. И о том, как горевали у авиакасс, не сумев достать билетов на самолет, чтобы вылететь на похороны Марии Петровых. И во Львове Семен Израилевич перво-наперво повел меня в Храм.

Церковь была униатская, полузапрещенная. На стенах лики как бы выдвигались из кружевных рушников. Прихожане сидели на длинных скамьях, между рядами стояли мужчины с хоругвиями, а священник говорил не с амвона, а словно с лекционной трибуны.

В этом храме – некая смесь православия с католичеством. И он и я были людьми верующими, но не воцерковленными, он не посещал синагоги, а я очень редко заходила в церковь. Но первостепенное, что он делал в любых поездках, было посещение храмов, куда бы ни приезжали. Лишь приехали в Гамбург, как отправились в кирху. Таким образом, Липкин изъявлял уважение и почтение тому народу, в чью страну или город он попадал.

Вспоминали на крылечке и Ялту, куда в восемьдесят третьем году ездили, он в энный раз, а я впервые. Жили в однокомнатной квартире матери нашей приятельницы. Дом с внешними галереями, как в Баку, располагался высоко и далеко от моря.

До часу дня Семен Израилевич, как всегда, трудился. Заканчивал свою пьесу «Картины и голоса», через год эта пьеса о войне, еврейском гетто и послевоенном времени, вышла на русском языке в Англии. В России никогда не печаталась. Не отвергали, даже не были знакомы с ней издатели, а театры – тем более. Так получалась, что ни в какую книгу Липкина эта пьеса по своему профилю не вписывалась.

В последнее время он мне настойчиво говорил, что если до его смерти не удастся издать всю его прозу и подключить к ней пьесу, то он просит меня выполнить его просьбу.

На самом-то деле мы своего никому не предлагали, ждали приглашений от издательств. Приглашения издать стихи поступали, а вот переиздать прозу к нему никто из издателей не обращался. И сейчас «Зимянин» насчет прозы не звонит.

А ведь можно было бы и с коммерческой точки зрения переиздать два тома, в одном, как мечтал он, «Записки жильца» и мемуарную «Квадригу», а во втором – «Декаду» и «Картины и голоса»; в этих двух вещах отчетливо звучат национальные и межнациональные мотивы, – животрепещущие в годы укрепления ислама и ксенофобии.

Не знаю, взялся бы какой-нибудь театр за такую длинную пьесу с авторскими отступлениями. Думаю, это чрезвычайно трудно, почти невысказуемо. А вот читать «Картины и голоса», на мой взгляд, крайне интересно. Есть и острая фабула, неожиданные сплетения судеб, а действующие лица, за исключением двух третьестепенных, декларативных, новы и ярки.

Да, дом стоял на горе, и мы долго спускались к морю по ступенчатой каменной тропе вдоль узкой речки, извиляющейся расплавленным стеклом, – сквозь него мерцали разноцветные камушки. Всякий раз по дороге к морю он вздыхал: все эти дома на горе принадлежали крымским татарам, в войну – выслали и их, единственных из высланных народов до сих пор не принимают на родине.

Он так много об этом говорил, что я даже написала на эту тему стих такой длинной строкой, как наша дорога к морю. А между тем, с середины апреля до середины мая было непривычно для жителей Ялты холодно. Мы не предполагали такой непогоды, и одеты были слишком зябко. Зябли и дома, и на улице.

Но в один из дней на набережной встретили вездесущего, способного на добрые порывы, Рейна. Он отвел нас в один дом, где и хозяин дома и его сын были любителями поэзии и ее собирателями. Как нам повезло, мы и оделись в теплое и даже обулись, и куда только нас не возили – то сын, то отец. И вспоминая пригrevший нас дом, мы винулись друг перед другом, что напрочь забыли имена наших благодетелей. А еще Сёма приговаривал: «Будем наказаны, – умрем и никто о нас не вспомнит. Но я умру первым и пока жива, хоть ты не забывай обо мне».

Но нас еще не разлучила смерть, и мы сидим на крылечке и вспоминаем пансионат «Отдых» неподалеку от Новой

Рузы, где под фамилией Новрузовы скрывались в восемьдесят четвертом от преследований КГБ.

Мы наперебой вспоминаем наши длинные и короткие прогулки. Короткие и более частые, за час до обеда, проходили по очаровательной опушке, полной желто-розовым мятликом, напоминающим пушистой формой лисий хвост. Кажется, в народе мятлик так и зовется. А кусты татарника – уже в пуху, над цветочной пестротой летают бабочки-простолюдинки и бабочки-аристократки, например, – Павлиний глаз. С опушки, окруженной кустарником, тропа расширялась в пыльный спуск к Рузе меж небольшими синими полями-островками льна.

У реки мы передыхали на высоком и плоском, не хуже скамьи, бревне, потом, обогнув пионерский лагерь, возвращались дурманно благоухающей липовой аллеей к обеду.

Длинные прогулки. Проработав до двенадцати, Липкин объявлял так: двигаем в пейзаж Поленова. И мы двигались по пересеченной местности с оврагами и рекой, доходили иногда даже до устья, до впадения Рузы в Москва-реку. Открывалась широкая панорама на среднерусские поля, окаймленные лесочком; лес казался маленькими, ибо был достаточно далеко от нас.

На лесистом горизонте явственно торчали уродливыми крестами антенны-глушилки. И все же нам удавалось вылавливать какой-нибудь «вражеский голос», вещающий по-русски.

По хлебному полю прыгали воробьи, а на огромном приречном лугу паслись коровы. Я их боялась, а он, побывавший в Индии, совершенно спокойно проходил меж ними и меня за руку вел.

С ним вообще мне редко когда было страшно, была в нем защитная обстоятельность, уверенность в том, как Бог рас судит, так и будет.

Особенно веселился, когда вспоминал соседа по столу, еврея, подполковника милиции из Ташкента, прикипевшего всей растерянной душой к Семену Ильичу Новрузову (и от-

чество по понятной причине было изменено). Они разговаривали о Ташкенте, но подполковник милиции все сводил к еврейской теме, неясно почему так доверившись нам, может, нюх у него был особенный на умеющих держать тайну.

Он жаловался на евреев-отказников, на евреев-диссидентов. И вообще на всех диссидентов, которые распустились и неизвестно, что с ними делать. «Ой, – хохотал Семен Израилевич в номере, – если бы этот подполковник, за кем он на прогулках увязывается, если бы знал, кто такие Новрузовы!»

Ходил подполковник в пансионате в гражданской форме, так что, возможно, мы и недослышали, в каком органе он работает, ибо вряд ли милиционера, даже в чине подполковника, так сильно изнуряют отъезжающие евреи и вообще диссиденты.

Почему-то Липкина особенно рассмешил милицейский чин, когда, завидев коров, тот бросился в паническое бегство под недоуменное мычание рогатой скотины, бежал, как ветер, несмотря на свой высокий рост и солидный вес.

На крылечке мы вспоминали и Галю Балтер, у которой гостили зимой и которая недавно умерла; и Бориса Балтера, написавшего повесть «До свидания, мальчики» и исключенного то ли из Союза писателей, то ли из партии за дерзкую речь на вечере, посвященном Платонову, сейчас не вспомню, откуда исключили. Если вспомню, напишу.

Знаю одно: он подвергался остракизму, сидел без работы. Мы с шестьдесят седьмого года, ежегодно живя зимой в Малеевке почти по два месяца, в воскресные дни, прихватив в буфете коньячок и редкие по тем временам апельсины, навещались в дом Балтеров. Они совсем недавно построили этот дом в Вертушине и жили там круглый год.

Балтера и его Галю все любили, как писатели, так и деревенские жители. Приходилось Балтерам материально туго, но встречала нас Галя всегда разносолами и вареньями. У них же мы обычно встречали старый Новый год.

Собирались за столом Рассадины, Сарновы, Лазаревы и физик-астролог Иосиф Шкловский. Если компания посмеи-

валась над Шкловским, и он уставал, переходили на насмешливые споры с заядлым спорщиком Балтером. Семен Израилевич в насмешливые споры не вступал не только из нежного отношения к Балтеру, но потому, что любил серьезные споры на серьезные темы. Однако, любил сплетни и сам сплетничал. Я этому в начале общей нашей жизни поразились, а он ответил, что сплетни питают писателя.

Гостили у Балтеров и что-нибудь мастерили и его друзья Войнович и Панченко. Коля Панченко строгал доски для полов, а что строил Войнович, забыла и я, и Семен Израилевич не мог вспомнить.

Балтер в новом доме прожил недолго. Мы на крылечке вспоминали его многолюдные похороны в жаркий разгар лета, на высоком месте кладбища Старой Рузы...

Почему-то мне запомнился не Василий Аксенов, кажется, распоряжавшийся похоронами, а чета сионистов Воронелей, ехавших на похороны из Москвы и сидевших в вагоне рядом с нами. Меж тем за ними увязался чекистский опасный хвост, они находились уже в долгом отказе и власть, возмущенная их «вызывающим» поведением, всячески препятствовала их отъезду в Израиль.

А Липкин запомнил на этих похоронах почему-то неподвижное лицо Слуцкого. Странно, что, дружа со Слуцким, он не замечал то, что я заметила сразу. Впрочем, я была там, откуда выходят часто с застывшими лицами и монотонными голосами, а Сёма, слава Богу, не был. Но и Слуцкий, кажется, там еще не был, но неподвижность лица, да и некая окаменелость голоса говорили о том, что он страдает депрессией.

Иногда, собираясь в Малеевку, мы со Слуцкими заказывали одно такси на четверых. Так было и в ту зиму, когда Таня умерла вскоре после приезда, вскоре после того, как мы вчетвером медленно гуляли по заснеженной Малеевке. Она слегла и я ухаживала за ней, поскольку так она захотела, и Слуцкий, выехавший на два дня в Москву, попросил присмотреть за Таней.

Впрочем, это мое собственное воспоминание. А о Слуцком Липкин вспоминал уважительно и благодарно. Но об этом написано им в «Квадриге» и в книге воспоминаний о нем.

От себя же могу добавить, что он вспоминал об этом крупном поэте и его трагичной болезни крайне жалостливо. Говоря же про наши прогулки по коровинскому пейзажу, обычно заключал: «А как далеко я, несмотря на стенокардию, умел гулять, а теперь все на крылечке посиживаю».

Но не все, не все было так грустно в три последних года жизни, – были у Липкина, помимо радости общения с природой и с друзьями, и литературные радости.

В двухтысячном году у него вышла почти полная книга стихов «Семь десятилетий». Он читал ее чуть ли не ежедневно, как и свою прозу. Часто я заставляла его улыбающегося за чтением своих книг. Но никогда не спрашивала, чему он грустно улыбается. Слишком деликатная тема. А он, возможно, улыбался, вглядываясь в свое творчество, как улыбается Бог, озирая свое творение: «Грустно, но ничего лучшего я, как не пытался, создать не мог. Вот и сказал себе: «И это хорошо».

А в две тысячи первом году справлялось девяностолетие Липкина на территории музея Булата Окуджавы.

День выдался на редкость теплый для последней декады сентября. Честно говоря, я побаивалась этого празднества, как бы Семен Израилевич не переутомился, и была уверена, что он откажется. Однако сказала Ирине Ришиной, которая с одобрения Ольги Окуджавы затеяла юбилейное торжество: спросите Липкина, вряд ли это ему под силу. Конечно, в какой-то мере я исходила из своей нелюбви к выступлениям.

Ирина Ришина прошла в его кабинет и вернулась, сияя: «С радостью согласился, а вы говорили!» Он, действительно, обрадовался. Я этого никак не ожидала. Мы иногда ходили по субботам в музей, как всегда в три часа дня. Там Семен Израилевич выступал на вечерах (почему-то так эти послеобеденники называются) Вячеслава Вс. Ив́анова и Фазиля

Искандера, обоих любил, Ив́анова считал выдающимся ученым, а Искандера выдающимся прозаиком.

Так вот, день выдался на редкость теплым. Вся территория двора была заполнена сидящими и стоящими писателями и читателями. Сначала, как всегда, звучали песни Окуджавы, он пел их, глядя на нас с экрана телевизора, – запись на видео. Потом горячей приветственной речью поздравила Липкина Ольга Окуджава и преподнесла торт с девяносто зажженными свечами, он задувал и я ему помогала.

Юбилейный вечер вела Ирина Ришина, которая по моей просьбе, предупредила выступающих, чтоб недолго говорили. Выступили Ахмадулина, Чухонцев, Наталья Иванова, Искандер, Рассадин, Кублановский. Люша Чуковская прочла поздравительное письмо от Солженицына.

Кроме того, Ирина Ришина озвучила многие поздравительные телеграммы. Особенно обрадовала телеграмма из Калмыкии, где Липкин был народным поэтом, а теперь уже стал героем, орден Героя Калмыкии вручал ему президент Кирсан Илюмжинов, приехавший к нам на дачу вместе с поэтом Давидом Кугультиновым.

Кроме того, Ришина поставила магнитофонную запись, – Аверинцев, страстный поклонник поэзии Липкина, поздравлял его короткой, но емкой речью. И еще несколько человек выступило, но я точно не помню, кто именно, так как волновалась – предстояло мне по просьбе Семена Израилевича прочитать хотя бы два-три стихотворения из посвященного ему цикла «Гимн».

Он восхищался этими стихами, утверждал, что подобных счастливых стихов о любви еще не было.

После меня стихи, сидя, читал Липкин, я держала микрофон. Читал звонким помолодевшим голосом, при этом неспешно и ясно выговаривая и музыку стиха и каждое слово.

Начал чтение с моего любимого – «Имена». Удивительно, что это стихотворение на библейскую тему, о том, как Адам *«Явлениям и тварям давал имена»* написано в сорок третьем военном году, и еще более удивительно, что наши крупнейшие поэты на темы, как Ветхого Завета, так и Нового Завета, пи-

шут самые свои значительные вещи амфибрахием, с той разницей, что применяют разные типы рифмы и строфического начертания. Амфибрахием написана Пастернаком гениальная «Рождественская звезда», а Бродским – не менее гениальное «Сретенье». И Ахматова стихотворение о жене Лота написала амфибрахием. Ну, это я к слову, как бы в скобках.

Все слушали, затаив дыхание, а ведь собралось около двухсот человек. Прохладнело, и моя дочь принесла Семenu Израилевичу куртку потеплей. В конце вечера, перед застольем, спела три стихотворения Липкина Галина Бови-Кизилова, приехавшая специально на юбилей из Швейцарии. Липкин и дома с упоением слушал, когда Галина под гитару исполняла песни на его слова.

Любил еврейские и русские народные песни и романсы, а вся прочая музыка именовалась «лишним шумом». Он еще в юности, как рассказывал мне, мечтал, чтобы его пели. И сам написал несколько песен, но неудачно.

И для чего я Вам рассказываю про этот юбилей, – Вы же были на нем и все сами помните. Но дома я могу посмотреть этот день, так осчастлививший Липкина, на видеокассете, а здесь мне хочется вспомнить его в письме. Семен Израилевич был счастлив и так разохотился, что через год, уже не теплым, а холодным сентябрем, праздновал свой день рождения в закрытом, но в довольно просторном зале музея. Читал сразу две поэмы – огромного «Техника интенданта» и тоже не маленькую вещь «Жизнь переделкинскую». И также молодого и вдохновенно читал, а это с перерывом – три часа!

Слушателями были близкие друзья и читатели, как пожилые, так и совсем молоденькие. Поэтесса Олеся Николаева привела послушать Липкина молодых из своего литинститутского поэтического семинара. Снова я страшилась, что он переутомится, и снова ошиблась. После выступления, уже дома, сказал мне: «От чтения своих стихов человек не устает, ему не до усталости – либо радуется, либо огорчается. Я, пожалуй, радуюсь, а как тебе кажется, внимательно ли меня слушали?» – «О, – ответила я, – ты мне задаешь

мой вопрос!» Семен Израилевич рассмеялся. Дело в том, что он любил, посмеиваясь над моим характером, рассказывать друзьям и знакомым: «Инна читает гостям стихи, ее хвалят. После ухода гостей, спрашивает меня: как ты думаешь, Сёма, меня похвалили или поругали?»

Охотно в эти годы он снимался для телевидения, вспоминая то Каверина, то Гроссмана, то Платонова. Однако потом сетовал: «Почему телевизионщиков интересуют мемуарные рассказы, а не стихи?» Впоследствии, видимо, по этой причине, отказался сниматься в фильме о Переделкине, хотя был хорошо знаком с первыми обитателями писательского городка – Пильняком, Бабселем, Чуковским, Фадеевым, Всеволодом Ива́новым, Пастернаком, Катаевым и другими...

С удовольствием читал перед видеокамерой и магнитофоном, когда к нему приходили молодые поэты, критики, журналисты, да и читатели. Павел Крючков, к которому Семен Израилевич относился с нежностью, записал его и даже выпустил диск, правда, маленьким тиражом. Приезжала из Израиля и моя дочь Лена с замечательным оператором Фимой Кучуком, они сняли фильм.

И в две тысячи втором году у Липкина была литературная радость. И не только радость, а и радостное для него занятие. Летом по приглашению издательства О.Г.И. он составлял большое избранное, куда вошли и две поэмы, которые читал в музее Окуджавы. Даже в самые беспросветные в смысле публикаций годы, без конца составлял книжки своих стихотворений. В архиве же сохранилось несколько экземпляров оглавлений к ранним стихотворным сборникам. Возможно, в молодости, зная наизусть все свои стихи, просто писал в столбик содержание книг. Избранное назвал «Волей», ему нравилось это заглавие, которое дал Бродский, составляя для американского издательства «Ардис» сборник его стихотворений.

Книгу составлял тщательно и любовно целый месяц, да и мне помог сложить полное мое на тот день избранное. Успел прочесть и верстку, видел и обложку. Все ему понравилось, и то, что на книжной странице много «воздуха», и оформление.

Но вот выхода новой своей «Воли» не дождался, как и не успел получить Президентскую премию...

...Ушел Семен Израилевич неожиданно и беззвучно. Он возмущенно попросил меня прочесть какую-то небольшую статейку и сказать ему свое мнение. Я прочла, а тут как раз Вы позвонили, мы проговорили минут пять-семь, не больше, и я в ночной рубашке, (так всегда по дому хожу, когда нет посторонних) заторопилась высказать свое мнение, какое и о чем не помню.

Захожу в кабинет Сёмы, а его нет, заглядываю в спальню, тоже – нет, в ванную и уборную – нет. Куда же он, думаю, подевался, ведь не пошел же в мокрый снег гулять, да и никогда, не сказавшись, на улицу не выходит, да и выходя так громко стучит палкой по коридору, что не слышать невозможно.

С этими мыслями я и выскочила в ночнушке на крыльцо и увидела. И побежала к нему. Палка была откинута так, что было понятно, что он дошел до ворот и пошел назад, к крыльцу. Но это я уже потом восстановила картину. А тогда я наклонилась, повернула к себе его голову и увидела один широко раскрытый остановившийся глаз, другой был в земле и снегу; бросилась щупать пульс, хотя все поняла сразу. Тело под дубленкой и рубашкой было еще совершенно теплым. Но моего Семёна Израилевича уже со мной не было. И хоть знаю, что умер он внезапно, на ходу, от тромба, а все же широко раскрытый глаз – до сих пор мне кажется, – не в небо уставлен, а на меня с укором...

...А дальше я уже не в силах писать это письмо, ведь пишу его без малого сутки. Добавлю только одно. О таком мгновенном уходе с земли можно только мечтать. А на самом деле, что мы знаем об этом, если даже до сих пор неспособна я уразуметь, как это он в такую промозглую погоду и так бесшумно сошел с крыльца. А может, это ангел смерти вывел его, а он смотрел вопрошающими, как в фильме глазами: «Куда вы меня зовете?»...

Всего Вам доброго.

И. Л.

11 марта 2006

Всеволод Ива́нов

Чудо актера Смирнова

Городок в пахучих песках – торчат только кресты церкво-вок, но и те на обиду толстоикрому протоиерею не обнови-лись; тусклые, похожие на былинки.

К городу некогда вели железную дорогу. Песков что ли на-пугались, – но вдруг оказалось: не надо проводить. Торчала в степи на размытой обкусанной насыпи – шпала, похожая на зуб, кусок рельсы с заржавленными краями. Мещане повысили цену на ситец, тибетейки киргиз еще сильнее замаслились от пота.

В этом городке появился актер Смирнов.

Посредине Павлодара деревянная каланча, похожая на сахарную голову. Вверху по площадке кружит пожарный, изредка покрикивая вниз: «Дарья, убери с веревок подштан-ники, пересушишь!» Кони от его скучного голоса ржут.

Обошел актер каланчу и проговорил:

– Баста!

Было на нем ватное пальто с воротником из черной кош-ки, рукава истрепанные, выпачканные гримом и тусклые на плохо бритом – оттого и морщинистом – лице тусклые как грим глаза.

Мало ли на земле таких актеров! А этот под старость стал еще и примером.

Жизнь распорядилась по-своему. Актеру Смирнову дано было гримировать так, что от его грима почти изменялось сердце.

Однажды в Москве, загримировав великого трагика – он увидал следующее. Трагик взгляделся в зеркало, охнул и по-

требовал на сцену настоящий кинжал. Оружия ему настоящего не дали, а угостили лишним стаканом коньяка. Озноб от страха перед собой не проходил, – он сыграл плохо. Публика ничего не заметила – ее ужасал грим. Срывая с яростью лицо, трагик вызвал к себе Смирнова и с легкой актерской аффектацией спросил:

– Искусство любишь?

– Люблю, – ответил Смирнов и робко взглянул в вызванное им к жизни страшное лицо.

– Перед искусством, клянись, не будешь никого больше гримировать. Искусство должно быть с пределом. Дальше – идет смерть. Мое лицо видишь?

– Вижу.

– Ну?

Вытер Смирнов мокрые виски и сказал:

– Жу-уть...

Он был наивен и, действительно, любил искусство: он бросил гримировать. Когда же ему становилось очень скучно, он гримировал себя. Его краски словно распрямляли кожу – он молодел или старел. Наивные брови высоко взметывались его рукой – и ему хотелось плакать.

В день, – когда он обходил каланчу, – в клочке «Известий», несшихся по улицам, таких измятых и грязных, словно их придуло прямо из Москвы, – он прочел о смерти трагика.

Кони ржали, скрипели под их копытами гнилые доски пожарного сарая. А ему казалось будто скрипело его сердце.

Предколлегии Уотнаробраза товарищ Мамонтов вымылся в бане. Хорошие бревенчатые бани есть в Павлодаре! Будто весь в пару тонешь, будто весь – один пар! Один раз в году, когда щеки словно налиты вином, кажется преуотнаробразу – учителя не голодают, ребятишкам есть на чем писать, школы отоплены и советские черные канарейки – Ундервуды и Смитс-премьеры – выщелкивают наградные и наградные...

Человек в пальто с котиковым воротником вошел и сел без стука.

– Я Смирнов, – сказал он скромно.

Мамонтов поглядел на его рукава и вздохнул:

– Нам бы революционный репертуар и хотя бы немножко смешно...

Плохо обритое лицо прикоснулось к кошке. Щетина вошла в щетину.

– У меня есть революционное предложение, товарищ заведующий.

Мамонтов недоверчиво хмыкнул.

– Все великие изобретения зреют в тиши, товарищ, подготовительная работа ужасна и вы, счастливые, видите только плоды.

– Знаем, я сейчас Мечникова читаю, – вдруг почему-то обиделся Мамонтов.

– Вот видите, товарищ, даже Менделеев об этом говорит. Я вам расскажу самое главное. Я вам не буду говорить о смерти, которая...

Мамонтов, вспомнив баню, прервал добродушно:

– Ладно. Короче и чтоб хоть один раз в жизни – смешно.

– Но, об этом уверяю вас... Итак, берем человека, гримируем его. Получается что? Смерть.

– Положим, какая смерть? Ерунда.

– Я говорю, где есть предел искусства, там его смерть. А значит и смерть жизни...

Мамонтов поглядел на свои толстые пальцы, затем в потолок – увидел там впервые паутину, усеянную перхотью от бумаги, громадного с каблук паука – и больше для себя сказал:

– Предположим, без искусства какая же жизнь.

– А я о чем же, коллега! Люди делают искусство и когда я, я их собственноручно гримирую – они убивают искусство. Хорошо. Кто же не делает искусства? Предмет, животное. Я против предмета, он не смешон. А животное... это... вы Дурова вспомните... он дрессирует...

Он вскочил, замахал руками, – краска посыпалась на пол.

– Я их превращаю, я их гримирую... И вы подыхаете, лопаетесь, расползаетесь от смехища... Массовое вам, доступное вам?..

Мамонтов опять увидел паука. У актера рот такой же паук. Мамонтов проговорил неуверенно:

– Вам бы с таким предложением в центр.

Мамонтов знал не только бани, но и честолюбие. Актер истер подбородком весь воротник, слов он высказал больше чем волос в воротнике, бороде и затылке его.

Массовое зрелище стоило недорого. Коллегия Отдела Народного Образования чрез Увоенкомат испросила несколько лошадей, овец, коз, верблюдов и наняла у татарина единственного в городе осла. Под опыты Смирнову дали пожарный двор. В губернию кто-то написал корреспонденцию о готовящихся массовых зрелищах в Павлодаре и его уезде. Пески будто стали реже и меньше пахучи.

После четырех, с занятий, коллегия и представители Уисполкома осматривали зверей. «Вы не очень, это еще не совершенно», – говорил им Смирнов. Все же портфели валились у них из рук, белье мокло от смеха, – пожарный на каланче хоть ничего не видел, но тряс перила и хохотал над всем городом. Какая-то чудовищно-несообразная смехотворная буря металась в пожарном дворе. Исполком обещал напечатать афишу в три краски, согнать весь уезд и вызвать представителя из губернии.

И от веселой жизни что ли скоты жирели, веселились, яровали. Ржанье, блеянье и вой стояли над пожарным двором. Актер слушал их и крестился радостно.

– Слава тебе, господи, на старости лет...

Морщины у него были розовые.

Первую выпустили козу. Животные должны были двинуться от каланчи, вдоль главной улицы, пересечь город, – а за городом их переловят солдаты и загонят в кирпичные сараи, где их разгритмируют.

Вдоль заборов, на заборах потные от солнца и от ожидания – мещане. Рубахи на них широкие, как деревья. Перелки забиты мальчишками.

Смирнов последний раз обошел стойла, подбавил где нужно краски, волосу.

Уисполком сидел на кирпичах у недостроенной церкви. Церковь ровно делила город на две половины – оттого-то и была недостроена, потому что в этом городе даже ни одного ровного лица не было. На кирпичах сидел и председатель уотнаробраза Мамонтов, за ним фотограф устанавливал аппарат, все не мог изловчиться, чтобы сразу снять – и шествие и уисполком.

Козу направлял мальчишка – никто не заметил его.

Это была даже не коза, – это был человек. Борода у него тонкая, спутанная, в семечках и в крошках вареных яиц. По земле почти волочился огромный гладкий живот, лицо с громадным горбатым носом и заплывшиеся глазки, – он бежал на четырех руках, мускулы у него тощие и вялые. Смешнейшая гримаса обвивала все его тело. Он бежал, может быть, пьяный, может быть, веселый – он бежал для себя и никого не видел, – даже не чихал от пыли.

Первый засмеялся, перепутав удары часов на каланче, пожарный. Внизу у каланчи старуха вымочила платок слезами от смеха. Затем прыснули солдаты – словно сыпля семечками, мещане рассмеялись с жирцой.

Коза все дальше и дальше.

Тут загрохотали бубенчики, ворота сараев распахнулись и веселые уродливейшие морды ринулись на песчаную, желтую улицу.

Одни из них походили на купцов – бородатые, розовые и потные; другие, как мещане – они были чуть ли не в поясах, свободно обтягивавших животики. Громадные, как щепы, рты, губы, развороченные, как пласты земли, глаза осоловелые, мутные и гнилые. Брови колесом, кругами, пятнами; все они заросли в мещанском жидком волосе, все они молчали – и оттого, что не стучали копыта о песок – было невыносимо смешно...

Киргизы, словно расколотые поленья – катались и визжали от смеха. Рубахи рвались на мещанах. Казаки муслили в слюне бороды.

Хохот – несдержимый, как дождь – мял лица, мешал разглядеть животных. Заборы трещали, выли и мигом пропитались потом.

Исполком выронил бумаги. Фотограф раздавил аппарат и тыкал себе в живот сломанными ножками подставки...

И вдруг коза запнулась, упала.

Какая-то старуха запоздало крикнула, тычась ртом в песок: «Ой, матушки, кончаюсь со смеху»...

Коза было поднялась, чтоб еще раз рассмешить старуху, – но опять запнулась и грузно повалилась на бок. Рот ее искривился, сполз грим и вышли живые, наполненные слезами, глаза. Она заблела.

Животные, поравнявшись с ней, остановились.

И здесь сердца всех – на заборах, в переулках, на кирпичах недостроенной церкви, на площади – словно кольнули иголкой и продели на ниточку.

Боль сломала ее грим. Ее косое, очеловеченное лицо перекинулось на соседей. Первый заревел верблюд. Его купеческая, широкая борода лопнула, ноги его выпрямились, шерсть полетела прочь. Кони сипло заржали.

Заборы, переулки дрогнули; ойкнул мальчишка и пополз в дом.

Животные с ревом ринулись вперед.

Пена смывала их грим, страшные, кровью налитые глаза метнулись через паклю и волос. Они грудой, стирая собой друг у друга грим, побежали вперед.

Улицы опустели.

Мещане, крестьяне, потные лезли в подполы.

Рев удалялся.

Солдаты, что должны были у кирпичных сараев встретить маскарад – разбежались.

Стадо в пыли, крови и клочьях шерсти, потрясая человеческими лицами, мчалось мимо них в степь.

Заходящее солнце встретило их в озере, они плыли в камыши – одни человеческие брови остались у них.

Но все же утки, теряя пух, испуганно летели от них на дальние реки.

Одинокая коза, посреди теплой, мягкой улицы блела, поджимая переломанную ногу.

Никто не решался подойти к ее страшному лицу.
Город запер двери на крючья – и молчал.

На особом заседании президиума уисполкома факт сей решили не оглашать.

Предложил кто-то устроить суд над актером Смирновым, показательный. Но никто ничего не мог понять, и предполитбюро сказал:

– Наверное, офицеришко какой-нибудь, казачий. Надо бы его пощупать.

Секция работников искусств исключила его из своих членов. Только и всего.

Товарищ Мамонтов лишний раз сходил в баню.

Подул опять из степей желтый и пахучий песок.

В крестьянской телеге, с толстыми оглоблями, – актер Смирнов уезжал из Павлодара. Он сидел на чемодане, вспоминал трагика и говорил:

– Не козу надо бы вперед пустить, а лошадь. Конь благодарнее и боль бы перенес без гримас.

Отъехал он в телеге недалеко.

Ветку к городку решили достроить и к концу насыпи, где шпала торчала, как гнилой зуб, подошел маленький паровозик с тремя вагонами.

Был митинг, говорили опять непонятные для него речи. Обещали что-то строить.

Он попросил начальника поезда довести его до губернского города.

Никто его в вагоне не заметил, он сидел обиженный, стирал ногтем грим с рукава. Старые кости ныли.

Сырой ветер врывался в щели теплушки, должно быть, шел дождь. Кошка облезшая только неприятно терла лицо, а пальцы топорщились и не влезали в карманы. «И вообще надо умирать», – подумал актер и ему стало жалко себя.

По уезду же прошел слух, что в городе появился черт и переделал всех животных в чучела. Затем рассказывали –

чучела умчались в Москву и теперь столица населена оборотнями.

В городе и наиболее населенных волостных селах устроили по этому поводу лекции-митинги «существует ли черт и надо ли в него верить». Вынесли резолюции об игнорировании религиозного дурмана и против поповской идеологии. Кресты же обновления, которых тщетно ждал толстокрый протоиерей – по-прежнему были тусклы и походили на былинки.

И через пять лет уже расскажут о чуде актера Смирнова, но по-моему.

1924

Публикация Т. Ивановой

Владимир Николаев

Тайны придворной летописи*

Уникальное издание

Возвращение души

Нежданный и негаданный, но такой желанный ветер свободы оказался самым благодатным для литературы.

Выше уже сказано немного о том, как «Огонек» начинал свою перестройку в подходе к литературным проблемам. Никаких четких планов у нас не было, мы просто радовались, что можем публиковать в журнале то, что является гордостью русской прозы, поэзии и критики, но совершенно неведомо нашим читателям. Они радовались не меньше нас, популярность журнала росла с каждым новым именем, открытым, наконец, и для советского народа, который всегда высоко ценил книгу. Мы способствовали возрождению многих славных имен, помогали возвращению русской души на родину и в сердца наших читателей.

К нам, на страницы «Огонька» и в тома книжных приложений к журналу, вернулись В. Набоков, Е. Замятин, И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Аверченко, И. Северянин, Саша Черный, В. Розанов, В. Ходасевич и многие другие писатели, поэты и критики.

Вместе с ними заняли свое достойное место в журнале (и в авангарде нашей литературы) М. Булгаков, А. Плато-

* Печатается впервые. См. № 229, № 230 и № 231 – 2009 г. – *Ред.*

нов. М. Цветаева, О. Мандельштам, Б. Пастернак, Н. Клюев, И. Бабель, М. Зощенко, А. Ахматова...

Наряду с ними украсили наши страницы и книжные издания журнала: И. Бродский, Н. Коржавин, В. Некрасов, А. Солженицын, А. Галич, Ю. Домбровский, В. Шаламов, С. Довлатов, А. Синявский, В. Войнович, В. Аксенов...

Всех не перечислишь...

Вместе с читателями мы беспечно пировали за таким сказочно богатым литературным столом и не подозревали, какие зловещие тучи собираются над «Огоньком». И вскоре гром грянул!

Огонь по журналу открыли из бастионов, так называемой, секретарской литературы, которую породили секретари Союза писателей и другие литературные начальники. Они справедливо увидели для себя смертельную угрозу в самом факте возвращения на родину талантливых писателей и поэтов. И какой же злобный шум подняли классики «социалистического реализма»! Один из них, Проскурин, договорился до того, что обвинил нас в... некрофилии (от избытка отрицательных эмоций и по неграмотности).

Вот так! Мы не собирались ни на кого нападать, а тем временем на «Огонек» всех собак спустили. Такие черносотенные литературные журналы, как «Молодая гвардия» и «Наш современник», от злобы просто задыхались.

Руководство Союза писателей обратилось в ЦК партии с просьбой подчинить ему журнал, то есть сделать его органом Союза писателей. Это означало бы взять над журналом власть, назначать его главного редактора и редколлегия, определять его редакционную политику и тому прочее. Нам удалось отбить эту коварную атаку литературных бездарей и интриганов.

Ужас чиновных графоманов перед наступлением настоящей литературы не был похож на зависть Сальери к Моцарту. Нет, не зависть одурманила их разум, их обуял страх перед разоблачением и развенчанием. В том, что король социалистического реализма гол, давно уже не было секретом, но на

фоне вновь открытой подлинной литературы, это стало ясно каждому читающему человеку.

Недаром говорят, что на воре шапка горит. Если бы проскурины сами не забили тревогу, не подняли бы весь этот провокационный шум, то рядовой читатель, возможно, не так быстро сообразил бы, что на самом деле представляла собой секретарская литература. Это уже сегодня будет просто пустой тратой времени доказывать, что творчество таких писателей, как Марков, Сартаков, Кочетов и им подобных, к литературе отношения не имеет. Их книги останутся чудовищным по своей нелепости памятником официальной советской идеологии, царившей у нас в стране более семидесяти лет.

Все они не жили в литературе, а жили за ее счет. Используя свое служебное положение, они набивали свой карман и верно служили властям.

Итак, борцы с некрофилией объявили нам войну, но мы в долгу не остались. Журнал не только обильно печатал настоящую русскую литературу, но и рассказывал своим читателям о том, что творили с ней, с писателями, при советской власти.

Мы поведали нашим читателям о судьбе, действительно, одаренных писателей, которых лишали возможности творчески работать. Так, мы обратились к сложному и тяжкому пути широко известного в то время писателя Ильи Эренбурга. О нем литературный журнал «Звезда» писал уже в период наступившей гласности, что не он один физически уцелел, выжил кое-как, вместе с ним, писал журнал, «можно назвать Федина, Леонова, Тихонова; эти тоже оставались в изящной словесности; и все же это были литературные мертвецы, хотя у каждого таланта было куда больше, чем у Эренбурга; кто замолчал, кто писал ерунду, кто просто скурвился.»

«Огонек» рассказал о трагедии Юрия Олеши, одного из самых тонких наших прозаиков. Рассказал на конкретном примере, который читающей публике не был известен.

...В марте тридцать шестого года в течение нескольких дней в Москве проходило собрание столичных писателей,

на нем обсуждались и при этом ставились в пример статьи «Правды» и других газет, призывавшие к борьбе с формализмом и натурализмом. Эта «борьба» была направлена, в сущности, на окончательное закабаление литературы и искусства, полное их подчинение партийному диктату.

В своем выступлении на этом совещании Юрий Олеша вступился за Дмитрия Шостаковича, которого травил официальная критика. Чтобы защитить выдающегося композитора, он покривил душой и похвалил газету «Правда»; суть его путаного заявления выражена, например, в таком неуклюжем пассаже: «... Читая статьи «Правды», я не отказываюсь от любви к Шостаковичу, но чувствую великую правоту этих статей».

Шостаковича он тем самым не спас, а себя опозорил и потом не мог себе этого простить. Он оказался одним из тех талантливых писателей советской эпохи, голос которых был приглушен диктатом властей.

На страницах журнала мы не просто сетовали на то, как нелегко было работать за писательским столом в таких условиях. Мы старались вести с нашим читателем серьезный разговор о широком и сложном потоке советской литературы, которая не состояла целиком из тех «борцов с некрофилией». Вот только один характерный пример.

Писатель Леонид Леонов был объявлен классиком еще при жизни. Среди нескольких его крупных произведений роман «Соть» можно смело назвать зеркалом нашей индустриализации. Ему в журнале была посвящена большая статья критика Даниловой.

В романе рассказывается о строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Идея его сооружения и ее осуществление – целиком дело председателя губернского исполкома Потемкина, в прошлом рабочего-бумажника, человека маниакального и не очень грамотного.

Писатель явно перебарщивает с технической информацией в своей художественной прозе, отдавая, видимо, дань соцреализму. В этом он не одинок, можно вспомнить «Гидроцентральный» Шагинян, «Человек меняет кожу» Ясенского,

«Цемент» Гладкова, «День второй», «Не переводя дыхания» Эренбурга и многое другое.

И, несмотря на такое преклонение «лирики» перед «физикой», по ходу романа с большим опозданием выясняется, что «сотинская вода все равно не годится для отбелки целлюлозы из-за высокого процента гуминовых примесей». К тому же Потемкин, «имея обещание на восемь, размахнулся на двенадцать миллионов». Автор статьи тут справедливо вспоминает историю со строительством БАМа, но почему-то упускает из вида, какой фамилией нарек своего героя писатель.

Нет, не прост был Леонов! Думается, недаром фамилия екатерининского вельможи с его потемкинскими деревнями напоминает еще и о слове «потемки». Критик Данилова делает весьма любопытный вывод в связи с леоновским героем:

«Леонов описывает его с нежным юмором, за которым только любовь. И если мы сегодня видим Потемкина не так, как автор, хотя основываем свое мнение на авторском же тексте, то это не вина его, а доказательство точности писательского взгляда. Бальзак, как известно, будучи легитимистом, показал обреченность аристократии. То же и у Леонова».

Клетка для буревестника

В публикациях о нашем новом литературном процессе в ходе перестройки «Огонек» приоткрыл немало тайн недавнего прошлого, когда ЦК партии считал контроль за этим процессом своим кровным делом.

Одной из самых засекреченных историй такой партийной политики стала трагедия основоположника советской литературы, буревестника революции Горького. Ключ к ней, по-моему, верно подобрал наш постоянный в то время автор Костиков в статье «Иллюзион счастья». Говоря о мучительных раздумьях писателя незадолго до смерти, он замечает:

«Отчего же тогда Буревестник, не пасовавший перед самодержавием, не восстал, не крикнул, подобно Льву Толстому: «Не могу молчать!»? Причина, думается, в том, что Горький

понял и глубоко переживал, что он невольно стал соавтором и соучастником величайшего иллюзиона XX века – попытки решить извечную проблему человеческого счастья посредством теории классов, иными словами, путем разделения людей на гегемонов и «других».

Мы попытались рассказать нашему читателю – знакомому только с хрестоматийным глянцем при изображении Горького – как можно более полную правду о писателе. Но мы никогда не ставили перед собой задачи низвергать его и стремились быть предельно объективными.

Журнал при этом напоминал о том, что еще в начале прошлого века Плеханов пророчески писал о Горьком: «Тактика большевиков кажется ему наиболее «страстной» и «героичной». Будем надеяться, что его пролетарский инстинкт рано или поздно обнаружит перед ним несостоятельность тех тактических приемов, которые Энгельс еще в начале пятидесятих годов так метко назвал революционной алхимией».

Словно услышав, наконец, это предостережение, писатель в семнадцатом году публикует свои знаменитые статьи об ошибках и преступлениях Октябрьской революции, собранные потом в книгу «Несвоевременные мысли».

Об этом историческом факте подавляющее большинство читателей «Огонька» не знали до публикации в журнале статьи Костикова. Из нее же они узнали и о реакции Сталина на «Несвоевременные мысли», который заявил: «Русская революция ниспровергла немало авторитетов... Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов». Вот такая неприкрытая угроза!

Евгений Замятин в своем очерке о писателе отмечал: «По моим впечатлениям, тогдашняя политика террора была одной из главных причин временной размолвки Горького с большевиками и его отъезда за границу».

Сталин, естественно, опасался, что из своей Италии писатель, давно уже ставший всемирно известным литератур-

ным и общественным деятелем, вполне сможет обрушиться с критикой и на него. И вот в двадцать седьмом году великий и коварный вождь затеял сложную интригу по завлечению Горького в Россию. Убежден, что об этом обязательно будет написан захватывающий документальный детектив, ведь осуществление замысла Сталина растянулось на несколько лет, в него было вовлечено немало действующих лиц, впоследствии большинство из них погибли в сталинских застенках или ушли из жизни при странных обстоятельствах, кстати, так же, как сам Горький и его сын. Убирали свидетелей, памятуя о сталинской заповеди: «Нет человека – нет проблем». Всего несколько слов об этой истории.

Требовалось найти человека, который смог бы войти к писателю в доверие и заманить его на родину, где и посадить в золотую клетку под бдительный надзор. Такой человек нашелся, им оказался довольно известный в то время деятель культуры Халатов, член партии с семнадцатого года. Горький знал его. Сталин решил еще больше приблизить Халатова к Горькому и ловко посадил того в кресло председателя правления «Госиздата» – Государственного издательства художественной литературы. Тут еще подоспело в двадцать восьмом году шестидесятилетие писателя, празднование которого развернули с невиданным размахом по всей стране. Оно проводилось по специальному постановлению Совета народных комиссаров СССР, такого почета у нас писатели еще не удостоивались.

Человек талантливый и сложный, Горький был слаб не столько на лесть, сколько на роскошь, любил хорошо и широко пожить, а это постоянно требовало больших денег. В своем итальянском убежище он не мог не осознавать, что его читатель и огромные тиражи его произведений, а значит, и огромные деньги – в коммунистической России. Сталин знал, как подъехать к популярному на весь мир писателю. На Западе для него такими гонорарами, как в России, даже не пахло.

И вот, наконец, в мае двадцать восьмого года Горький решается приехать с визитом на родину. Потом, еще и еще

навещает нас снова и снова и, прожив в гостях несколько месяцев, опять возвращается в Италию. Вот как долго и острожно примерялся он к нам (к Сталину!). Настоящая игра в кошки-мышки, но ставки в ней высоки!

В марте тридцать первого года Халатов пишет Горькому: «Процесс меньшевиков близится к концу. Судебное следствие вскрыло отвратительную, гнусную картину вредительской, интервенционистской работы, так называемых, специалистов. Вслед за этим, видимо, настает очередь за группой Кондратьева-Чаянова (*два великих русских ученых-агрия, уничтоженных Сталиным – В. Н.*), лицо которых в достаточной степени выявилось на двух последних процессах. Не используете ли Вы этот благодатный материал о вредительстве для Вашей пьесы?»

Речь в письме шла о пьесе «Сомов и другие». Вот вам уже и сталинский заказ! Как известно, эта пьеса не публиковалась и не ставилась. Сам Горький признался: «Пьеса моя о вредителях не вышла». Точно так же не вышла у него и пьеса о кулаках.

Но не эти пьесы были главным заказом озабоченного литературой диктатора, он ждал от писателя большего, ждал того же, что тот сделал для Ленина, когда прославил того в ярком писательском очерке: критики Горького считали этот очерк об Ильиче величайшим преступлением в истории русской литературы.

В тридцать втором году Халатов пишет Горькому: «Материалы для биографии Иосифа Виссарионовича мы Вам послали, напишите мне – не нужны ли Вам какие-либо еще материалы, и когда думаете ее дать». Торопит Сталин, не терпится ему.

Но он так и не дождался горьковского очерка о собственной персоне.

Если исходить из особенностей сталинского характера, то этот факт вполне мог решить судьбу писателя: Сталин обычно просто уничтожал всех тех, кто не прислушивался к его просьбам, пожеланиям, не следовал точно его приказам.

А пока вождь терпеливо выжидал, когда же писатель окончательно попадет в его руки. Обстоятельства складывались так, что Сталин вполне мог рассчитывать на успех своего коварного замысла.

Так, например, в июле тридцатого Халатов писал Горькому: «Мне на днях Сталин посоветовал послать Вам материал «К отчету ЦК ВКП(б)», составленный ОГПУ, – о работе вредителей, так как, по его словам, Вы сейчас работаете по этому вопросу».

И вот в ноябре того же года Горький публикует в газете «Правда» статью «Если враг не сдается – его уничтожают». Как это ни печально, ее заглавие стало главным официальным лозунгом массового сталинского террора. Не случайно Сталин приказал отпечатать статью в виде брошюры тиражом в три миллиона (!) экземпляров.

Горький одобрил процесс над Промпартией в тридцатом году, благославил коллективизацию, воспевал чекистов и восхищался их воспитательной работой в концлагерях...

Наконец Горький осел в Москве как на постоянном местожительстве. Ему был предоставлен роскошный особняк в центре столицы, построенный в начале прошлого века знаменитым архитектором Шехтелем. Во дворе соседнего дома власти устроили к приезду писателя редакции журналов «Наши достижения», «СССР на стройке» и «За рубежом», в которых Горький стал главным редактором.

Примечательно, что в то же самое время в непосредственной близости от горьковского особняка-дворца прозябали в убогом домишке на Тверском бульваре Платонов и Мандельштам, и так же неподалеку бедствовал затравленный Булгаков.

Сразу после возвращения в Москву Горький был взят под неусыпный контроль бдительных сталинских опричников. Писатель Слонимский свидетельствует в своем дневнике:

«В доме Горького приблизительно с тридцать третьего года стали ощутимо господствовать Ягода и его подручный Крючков» (первый – глава карательных органов, второй – секретарь Горького, можно сказать, его тень).

Помощник писателя, автор книги «Семь лет с Горьким», Шкапа, вспоминал, как Горький жаловался ему: «Словно забором окружили – не перешагнуть!.. Окружили... Обложили... Ни взад, ни вперед! Непривычно сие!»

В шестьдесят пятом году Шкапа на вопрос о судьбе писателя ответил: «Убежден, что Горький убит Сталиным, так же как Бухарин, Крестинский и другие».

Сам Шкапа свыше двадцати лет просидел в тюрьмах и лагерях, а упоминавшийся выше Халатов был репрессирован и уничтожен после смерти Горького. Видно, слишком много знал. Концы в воду...

Известный художник Юрий Анненский в очерке о Горьком писал:

«Тайна смерти Горького, настигшей его в тридцать шестом году, остается еще неразгаданной... Я верю признаниям профессора Плетнева, большого медика, который вместе с другими опекал писателя: «Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально: он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском Союзе уже нечем было дышать. Он страстно стремился назад, в Италию. На самом деле Горький стремился убежать от самого себя – сил для большего протеста у него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления писателя против режима».

Великий писатель в положении заключенного! Несколько лет подряд, до самой смерти. Как известно, Сталин использовал и мертвого Горького: Бухарин и сам глава ОГПУ Ягода были обвинены в ... убийстве писателя, в его отравлении!

В шестьдесят пятом году французский писатель Луи Арагон издал роман «Умерщвление», в котором изобразил смерть Горького на общем фоне сталинского террора.

Шло умерщвление не только Горького и многих других писателей, но и литературы в целом. Обо всем этом мы рассказывали на страницах журнала нашим читателям, считали это своим долгом.

С надеждой на царь-пушку

В восемьдесят шестом году в одном из номеров журнала мы напечатали на обложке снимок: на снегу стоят Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава и Роберт Рождественский. В том же номере были опубликованы небольшие беседы с ними, никого особо не задевавшие, без всяких претензий.

Но какой же шум на всю страну подняли после этой публикации живые классики социалистического реализма и обслуживавшие их критики! Даже сам факт появления на обложке «Огонька» этих давно уже примелькавшихся поэтов вызвал бурю зависти и ненависти, я не припомню другого подобного случая, чтобы обложка какого-либо периодического издания породила такое же бурное негодование. Насколько же болезненно восприняли перестройку так называемые партийные писатели и официальные руководители нашего творческого союза!

Вместе с этой четверкой (кстати, они печатались в журнале и до перестройки!) у нас стали широко публиковаться многие другие поэты и прозаики, открыто и смело выступавшие за переустройство нашей жизни и литературного процесса. Это их сплочение на страницах «Огонька», завоевавшего тогда огромную популярность, перепугало столпов официальной партийной литературы, и они объявили журналу смертельную войну. Приходилось отвечать на их яростные наскоки, правда, полемизировать с ними по существу было, признаться, трудно: их доводы и претензии были таковы, что спорить с ними, значит, опускаться до их малограмотного базарного уровня.

А этот уровень, действительно, был таков, что судить о нем лучше всего по их же собственным опубликованным в печати высказываниям. Поэтому мы не раз приводили в журнале цитаты из их выступлений, причем, без комментариев, настолько они говорили сами за себя. Предваряя подобные публикации, журнал писал:

«Текст, публикуемый далее, откровенно грязен, нескрывто нацелен на возбуждение людей, не широко образованных, но готовых к погромным действиям по первому свистку... Мы хотим предложить нашим читателям цитаты из одного номера журнала «Молодая гвардия». Тоска по российским Сумгаитам *(речь идет о погромах в азербайджанском городе – В. Н.)*, бессилие в попытках вернуть жизнь на прежние рельсы порождают такую вот ностальгию по прошлому – злобную, темную, но требующую от всех нас предельной бдительности для противостояния ей.

Надеемся, что вы еще раз поймете наше нежелание вступать в дискуссию с авторами и изданиями подобного толка. Главный смысл публикации этих выдержек – в нестареющем призыве: будьте бдительны! Сегодня в трудно и нервно живущей стране любая провокация особенно опасна».

Итак, вот несколько таких цитат.

«Именно с Хрущева пошла у нас в стране мода на диссидентство. Престижно стало крыть и хаять. Но если при Сталине таких отправляли прямым ходом на Колыму, то теперь стали сажать в почетные президиумы, посылать представителями народа за рубеж. А уж за рубежами таких принимали с распростертыми объятиями!»

«У меня, например, еще недавнего антисталиниста, укрепилось убеждение, что Сталину пришлось очищать самые настоящие авгиевы конюшни. А ведь легендарному Гераклу это зачли за один из его бессмертных подвигов».

«По недавним данным, у русских на тысячу населения имеется семнадцать человек с высшим образованием, у евреев же – шестьсот».

«Сталину ставится в вину «наказание целых народов». Он даже подается как изобретатель этих страшных массовых акций. Мне кажется, прежде всего, что историческая объективность в любом случае требует постановки вопроса: а за что? Почему мы его избегаем? Что стоит за этим нежеланием спросить?»

«Об Афганистане сейчас пишется и говорится очень много. О вводе наших войск в эту страну отзываются, как о не-

простительной авантюре, Я бы не торопился с подобными приговорами».

«Мне кажется, что те, кто из всех сил раздувает «пузырь Высоцкого», сами признают ущербность своих усилий. Поэтому в ход пошли байки о каких-то преследованиях хрипуна с гитарой, о его страданиях. Он так и подается безвременно погибшим страдальцем! А этот хрипун является махровым цветком периода застоя».

Точно так же мы напечатали в журнале выдержки из официальной стенограммы Съезда российских писателей, высказывания секретарей и членов Правления Союза писателей РСФСР, вот некоторые из них:

«Наш Союз писателей должен объединиться с военно-патриотической силой, с армией. Чтобы в нужный момент дать достойный отпор всем этим негодяям. Не будем обманывать свое предчувствие, свое зоркое писательское видение».

«По моему разумению, не рынок спасет нас, а обновленная коммунистическая партия, компартия России и наша армия. На мой взгляд, это те силы, которые способны вытащить Родину из беды, и мы должны помочь им в этом деле. Встать на их сторону».

«В стране произошел контрреволюционный переворот... Кто будет руководить строительством социализма, а тем более коммунизма, если Коммунистическая партия приравнивается теперь к одной из многих?»

«И все-таки в Коммунистической партии состоят люди замечательные. Это цвет нации, не только русской нации, а всех народов, входящих в Россию, и мы с этим должны считаться. Пока коммунистические организации сохраняются, пока есть еще в партии сила кое-какая, ей надо действовать».

«Наш народ победил фашизм, послевоенные трудности, одолеет и нынешний этап.

*У нас ещё в достатке матерьяла,
Который мы не пустим на распыл.*

*У нас ещё Царь-пушка не стреляла,
У нас ещё Царь-колокол не бил!»*

Право писать плохо

Вот что удивительно. При всем своем убожестве противники переустройства нашей действительности прекрасно умели обделывать собственные дела, набивать свои карманы за свою ничего нестоящую продукцию.

Командно-бюрократические методы управления изуродовали всю нашу жизнь, в том числе и нормальный литературный процесс. Гласность помогла высветить самую главную тайну литературных генералов, которую они тщательно скрывали от общественности: они захватили все командные высоты в этом процессе, начиная с издательств при явном покровительстве своих хозяев из ЦК партии, и оголтело, словно потеряв рассудок, гнали свои многомиллионные тиражи, то есть делали себе миллионы. Вот об этом мы в журнале и поведали нашим читателям, чем вызвали, разумеется, новый взрыв ненависти со стороны «писателей» с литературными отмычками. Они обогащались за счет других, не давая жить и работать настоящим писателям.

Но главный вред дельцами от литературы был нанесен самой литературе. Они завевали себе право писать много и плохо, тем самым они дискредитировали писательское слово и сословие, привили дурной вкус миллионам ни в чем неповинных читателей. «Огонек» разъяснял суть такой печальной ситуации, рассказывал о том, какие у нее глубокие исторические корни. Известный критик Сарнов так и назвал свою статью в «Огоньке»: «Борьба за право писать плохо». Он, в частности, рассказал о старой брошюре под названием «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе». Это – стенограмма совещания в отделе печати ЦК партии, которое состоялось в мае двадцать четвертого года. Вот несколько цитат из нее:

«Если бы мы здесь решили подходить к литературе только с той точки зрения, насколько то или иное произведение талантливо или неталантливо, нужно было бы собираться не здесь... Может быть, в Академии художественных наук... Вопрос стоит совсем по-другому. Здесь дело идет о литературном движении класса». «Нам нужна ком. ячейка. Нам нужна большевистская фракция в литературе. Такой ячейкой, такой коммунистической фракцией является группа пролетарских писателей. Говорят, что среди них нет гениев. Верно, нет... Но группа, на которую партия может опереться при проведении своей политики, такая группа существует. Такой группой является Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей (ВААП)».

Короче говоря, пусть они пишут хуже настоящих писателей, но зато они – пролетарского происхождения и за партию, поэтому они не только имеют право писать плохо, но и право руководить всем литературным процессом.

Против такой политики группа ведущих советских писателей направила письмо в ЦК партии, среди них были: С. Есенин, А. Толстой, М. Зощенко, О.Мандельштам, М. Волошин, И. Бабель, М. Пришвин, Б. Пильняк, Н. Тихонов, В. Каверин, В. Иванов, В. Шишков, В. Инбер, М. Шагинян, О. Форш...

И сегодня эти имена известны. Им тогда противостояли литераторы, группировавшиеся вокруг журнала «На посту», в котором заправляли Г. Лелевич, И. Вардин, С. Родов. Кто-нибудь сегодня знает о них?

Но борьба за право писать плохо и при этом командовать продолжается у нас по сей день. Еще Горький заметил, что эти две претензии всегда выступают вместе!

В тридцать четвертом году партия соорудила для более успешного приручения литераторов золотую клетку – Союз писателей. Силу в нем забрали те, о ком тот же Сарнов опубликовал в «Огоньке» статью «Репутации на дотации». Как и в двадцатые годы партия поддерживала материально и морально все тех же, кто отстаивал свое право плохо писать, но верно служить ей и командовать теми, кто умеет хорошо писать, но не желает прислуживать.

В этом своем стремлении официальные руководители литературного процесса зашли так далеко, что автору «Огонька» Рассадину пришлось вынести в заголовок своей статьи такой вопрос: «...Все разрешено?» Он писал о тех литераторах, которые в годы перестройки шли на все, чтобы сохранить старые порядки в нашей литературе и опорочить уже ушедших из жизни, но пришедших, наконец, к широкому читателю: Цветаеву, Ахматову, Пастернака, Мандельштама...

Рассадин приводит строки поэта Давида Самойлова:

*Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.*

*Тянем, тянем слово залежалое.
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено.*

«... Увы, осознание, что их «нету», внушает дикую радость вседозволенности», – замечает Рассадин в своей огоньковской статье.

Об искренности в литературе

Большую роль в борьбе нового со старым в годы перестройки сыграла проза Анатолия Рыбакова, которая публиковалась в «Огоньке». В начале восьмидесят седьмого года мы напечатали отрывки из его романа «Дети Арбата», а через год – из романа «Тридцать пятый и другие». И, наконец, в девяностом году – из романа «Страх».

Еще в шестьдесят шестом году роман «Дети Арбата» был анонсирован в журнале «Новый мир», через двенадцать лет о своем намерении напечатать его заявил журнал «Октябрь». В то брежневское время обе эти попытки сорвались. Только

в восемьдесят седьмом году читатели смогли познакомиться с романом, которому было суждено стать знамением нового времени.

Так вот получилось, что роман, пролежавший столько лет в писательском столе, появился в самый нужный момент, именно им (и впервые со страниц «Огонька»!) был нанесен сокрушительный удар по сталинизму. Он тут же был издан у нас многомиллионными тиражами и все равно был нарасхват, им зачитывалась вся страна. Не перечислишь и зарубежных изданий романа.

После нашей публикации отрывков из «Детей Арбата» мы получили в журнале огромную читательскую почту. Наши ведущие деятели литературы и искусства буквально завалили редакцию своими восторженными откликами на книгу Рыбакова, мы печатали их во многих номерах журнала. Такого литературного успеха я не припомню.

Вспомнили мы в журнале и о самом, может быть, первом провозвестнике перестройки в литературе и жизни, Владимире Померанцеве, прозаике, который навсегда вошел в историю одной своей статьей. Вот несколько слов о нем писателя Михаила Рощина:

«Те, кому сегодня пятьдесят и побольше, наверняка помнят статью Вл. Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанную в «Новом мире» в пятьдесят третьем году. Это был взрыв бомбы, откровение. А говорил автор всего-то о том, что писать надо честно, что жизнь, мол, такая, а литература об этой жизни совсем другая. Украшающая и упрощающая, намеренно-выборочная. Статью все читали, все знали, восторгались, и одно это, несомненно, доказывало, что в обществе творят добрые нормальные силы, художники полны смелости, самоотверженности, ответственности. Владимир Михайлович Померанцев стал необычайно знаменит. А человек он был скромнейший...»

Пятьдесят с лишним лет прошло с тех пор, а разговор об искренности в литературе по-прежнему актуален. Уж как только литературные бракоделы не пытаются во все времена

обойти эту самую искренность, выдать жалкие ремесленные потуги за подлинное творчество.

Одним из таких маневров проникновения в литературу, вернее – к гонорарным кассам, стало такое явление, родившееся еще в брежневскую эпоху и доставшееся перестройке в наследство, как распространившиеся у нас так называемые политические романы и пьесы. В них хитроумные авторы пытались искупить «политикой» свою творческую несостоятельность. Одним из классиков такого жанра стал Александр Чаковский.

Вообще же основной вклад в это неблагородное дело внесли приткие журналисты, пытавшиеся выбиться в писатели. Я помню одну из теоретических конференций в Союзе писателей на эту тему. Ее участники вполне серьезно говорили об этом явлении, как о чем-то новаторском в развитии советской литературы. Перестройка все же помогла тогда излечиться от этого литературного СПИДа, «Огонек» в меру своих сил тоже способствовал тому, чтобы это «новшество» завяло на корню.

Происки дельцов от литературы – не без помощи официальных властей продолжают не только в сфере литературы. Вот один только печальный пример.

Перестройка шла уже пятый год, а наших детей учили в школах по учебнику «Русская советская литература», который ярко описала на страницах «Огонька» наш автор Наталья Ильина. Вот цитата из этого учебника:

«Для развития литературы послевоенных лет имели серьезное значение постановления ЦК КПСС (1946 и 1948 годы) по вопросам литературы и искусства. В них была подчеркнута мысль о необходимости глубокого и правдивого изображения действительности».

И это – о погромных постановлениях по поводу творчества Зощенко и Ахматовой, нашей музыки и кино! А уж о социалистическом реализме авторами учебника спета целая ода, они утверждают, что этот метод «требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии, при этом правдивость и историческая конкретность изображения должны

сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

Косноязычие этого учебного пособия вполне может послужить основой для фельетонов. Автором приводится и весьма любопытная статистика. На страницах учебника имя Максима Горького упоминается двести семьдесят четыре раза, Михаила Шолохова – сто семнадцать раз, Николая Островского – сто семь, Александра Фадеева – сто шесть раз, а вот Булгаков с Платоновым упомянуты по одному разу: Василий Гроссман, Исаак Бабель, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Марина Цветаева – ни разу!

И это уже одиннадцатое издание учебника!

К величайшему сожалению, перестройка так и не смогла до конца довести свое дело не только в экономике, но также и в нашей литературе. Как-то прозаик Каледин, публицист Стреляный и я сидели вместе уже на излете перестройки на пленуме Союза писателей. Мы теряли время на это только потому, что шел разговор об издательстве «Советский писатель», куда тогда многие прочили директором Стреляного, блестящего публициста, завоевавшего в то время самую широкую известность. В противном случае издательство могли захватить те самые дельцы от литературы, о которых писалось чуть выше. Так оно потом и получилось.

Мы тихо беседовали между собой, и Каледин посетовал, что никак не пробьется на страницы печати со своей повестью «Стройбат» (это при наступившей тогда гласности!). Стреляный в ответ на это дал ему весьма разумный совет: «Отдай свою рукопись на радиостанцию «Свобода». Они ее прочитают на всю нашу страну и после этого не печатать повесть будет просто смешно». Каледин так и поступил, вскоре «Стройбат» был у нас опубликован.

ГКЧП

Эта аббревиатура расшифровывается так: Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Девятнадцатое августа девяносто первого года. Утром, как всегда, включил радио и вдруг услышал о государственном перевороте в нашей стране. О нем объявил этот самый ГКЧП. Вышел на балкон и увидел, как по Можайскому шоссе в сторону центра идут танки. Наверное, в моем положении естественней всего было бы испугаться за себя, а главное – за семью, которая у нас при таких катаклизмах обычно страдает не меньше, чем ее глава. Но вместо страха меня охватило какое-то прямо-таки свинцовое отчаяние: что за несчастная у нас страна! Всю жизнь – абсурд и горе.

Был понедельник. Надо было спешить в редакцию: кто знает, что будет с городским транспортом, ко всему прочему из нашего редакционного руководства я остался один: Коротич находился в США, Гущин – другой заместитель главного – в Германии.

От моего дома путь в редакцию неблизкий, но очень удобный, окольный, от Кунцева до Савеловского вокзала на электричке. Добрался до работы благополучно. Вызвал к себе членов редколлегии, репортеров и фотокорреспондентов. Одних послал в Белый дом, других – по городу, связались с дружественными изданиями. Решили снова собраться среди дня, чтобы заслать в типографию то, что получим из Белого дома, а так же фото и репортажи с московских улиц.

Документы и призывы ГКЧП решили во внимание не принимать и не печатать. Мнение по этому поводу было почти единодушным, только один член редколлегии попытался уговорить меня – с глазу на глаз! – заслать на всякий случай в набор официальные документы ГКЧП.

Случилось так, что переворот не нарушил нашего производственного графика: именно в понедельник и вторник мы всегда, как говорится, «закрывали» очередной номер журнала, то есть сдавали в набор все последние рукописи, рисунки и фотографии. В конце вторника подписывали номер «в печать», со среды на четверг типография начинала печатать тираж журнала, в четверг редакция получала так называемые «сигнальные» экземпляры нового номера, и один из двух за-

местителей главного редактора подписывал их «на выпуск в свет». С этой подписи и рождался официально новый номер «Огонька».

Именно на эти дни и пришелся весь переворот. В случае его неудачи, мы могли выпустить очередной номер журнала в срок и с материалами, посвященными этому небывалому событию.

Итак, с утра все разъехались по своим заданиям. Мне оставалось ждать возвращения наших корреспондентов и ловить новости по радио и телевидению. Увидел в окно, что к нашему подъезду подъехал бронетранспортер, из него выбрался офицер, подполковник (!), и вошел в редакционное здание – оно у нас двенадцатиэтажное, в нем было несколько газет и журналов издательства «Правда».

Я подумал, что военные собираются оцепить наше здание, и решил спуститься вниз, чтобы выяснить, в чем дело. Подполковник расспрашивал дежурного милиционера, где находится редакция газеты «Правда» и как туда проехать. Тот отвечал ему, что она рядом с нами, в другом корпусе, и объяснял, как туда можно добраться на бронетранспортере. Но офицер твердил, что ему дали адрес: «Бумажный проезд, 14», то есть наш.

Он был убежден, что «у них» перепутать не могли. Милиционер, разумеется, стоял на своем. Тогда подполковник стал куда-то звонить по телефону. Его переговоры были какими-то бестолковыми. Наконец, он вернулся в свой бронетранспортер и направился в нужном направлении.

Я тут же прошел к зданию редакции «Правды» через проходной двор и там обнаружил, что несколько бронетранспортеров там уже стоят. Взяли ее под опеку на всякий случай. Как потом оказалось, точно так же, как телевидение и ТАСС. Значит, пока нас не догадались отрезать от внешнего мира. И то, слава Богу!

Успокоившись, я вернулся в редакцию. Из Белого дома нам сообщили, что Ельцин и его ближайшие соратники обращаются к гражданам России, разъясняют, что произошел ре-

акционный переворот и призывают к бессрочной забастовке. А из наших окон было видно, что обширная площадь перед Савеловским вокзалом жила своей обычной суетливой жизнью.

Я вышел на площадь, посмотреть на людей и послушать, о чем они говорят. Оказалось, о чем угодно. Только не о перевороте. Все были заняты своими обычными делами. Никаких признаков того, что, возможно, началась историческая трагедия. Было понятно, что все уже знали о случившемся, но это их как бы не касалось. Бойко торговали всевозможные палатки и лотки, жарились шашлыки, рекой лилось пиво, на лицах не было и тени беспокойства или озабоченности.

Я проехал в центр, благо это от нас десять-пятнадцать минут. Если бы не боевая техника на улицах, и там бы путч не был замечен. Масса людей, летом Москва всегда переполнена, все спешат, как обычно, по своим делам. Некоторые, особенно молодежь, толпились у танков, мирно беседовали с танкистами, офицерами и рядовыми. Атмосфера была спокойной, я бы сказал, благожелательной, кровью и порохом не пахло. Военные заверяли, что в народ стрелять не будут.

На боевые машины забирались парни и девушки, сидели на них вместе с танкистами, угощали военных купленной и домашней снедью, поглощали мороженое, из стволов пушек торчали букетики цветов.

У Белого дома было много прохожих, но несметной и монолитной толпы еще не образовалось. Уже после провала заговорщиков писали, что в критические часы Белый дом собралось защищать пятьдесят-семьдесят тысяч человек. Для Москвы совсем немного. В Ленинграде, например, на призыв Собчака защитить демократию поднялся весь город, сотни тысяч человек.

Беглый обзор столичных улиц и площадей меня удручил, я не ожидал такого безразличия, такой реакции москвичей на путч. Но надо было заниматься своим делом, я поспешил обратно в редакцию.

Вскоре начали возвращаться наши репортеры и фотокорреспонденты, они привезли не только свои фото и репортажи, но и Указ Президента РСФСР Бориса Ельцина: все решения ГКЧП признать не имеющими силу на территории РСФСР. Привезли они и первые листовки против путчистов. Все это срочно заслали в типографию. А вот будут там набирать эти материалы или нет?

Я сходил в производственный отдел типографии, это на этаж ниже нашей редакции, наши материалы пока принимали и набирали, словно ничего не случилось. Похоже, что руки ГКЧП дотянулись еще только до газет, не до журналов: заговорщики объявили о приостановлении выпуска нескольких газет.

Впережку с балетом «Лебединое озеро» прослушал по телевидению несколько официальных сообщений ГКЧП: обращения к советскому народу и главам зарубежных государств и правительств, к ООН и тому прочее. Узнал, что успели уже арестовать следователя Гдляна, вместе с которым «Огонек» лишний раз прогремел на всю страну, когда на наших страницах мы разоблачали коррупцию в Узбекистане и ЦК КПСС. Еще узнал, что в Москве открылся первый в истории Конгресс наших соотечественников. Их предки бежали от одной смуты в семнадцатом году, а они подгадали приехать точно к началу другой.

Поступила и такая новость: составлены списки на аресты, первым в них, разумеется, Ельцин. К вечеру телевизор ошарашил поистине невиданным и жалким шоу – пресс-конференцией главы путча Янаева и его компании. После этого странного зрелища немного на душе полегчало, но ночевать я все же уехал за город, на всякий случай, поскольку у нас давно сложилась традиция арестовывать людей глубокой ночью.

Двадцатого августа, на второй день путча, со мной в редакцию приехала моя жена, Светлана («Если тебя арестуют, то пусть у меня на глазах»), и сидела со мной в редакции целый день. Кинулся я в производственный отдел типогра-

фии, наши материалы по-прежнему набирали, и мы готовили из них очередной номер журнала.

Но вскоре мне из типографии сообщили: «В издательство едет цензор, будет все читать». К тому времени мы уже совсем забыли о цензуре. И вот поздно вечером прибыл цензор, мне в издательстве сказали, что он будет читать все материалы ночью.

А этот второй день смуты прошел в напряженном ожидании. С утра у Белого дома собралось около десяти тысяч его защитников. Резко испортилась погода, похолодало, пошел дождь. Солнце вернулось в город только после окончательного провала путча...

Двадцатого днем Руцкой, Силаев и Хасбулатов ездили из Белого дома в Кремль на переговоры к Лукьянову. Говорили, что пред этим Руцкой объявил Лукьянову: если их арестуют, Кремль подвергнется ракетному обстрелу.

На улицах по-прежнему танки, бронетранспортеры в окружении мирно настроенных москвичей. Нарастает беспокойство: где же Горбачев, что с ним?

У Белого дома состоялся митинг – двести тысяч участников! Это уже кое-что. На митинге выступили Ельцин, Боннэр, Евтушенко, Федоров, Шаталин, Шеварднадзе. Весь день усиливались слухи, что готовится штурм Белого дома. Еще слух – потом он подтвердился: заговорщики срочно заказали двести пятьдесят тысяч наручников. Неожиданно Сергей Станкевич объявил, что Горбачев жив и здоров, но задержан на своей даче в Форосе. К вечеру попросили женщин покинуть площадь перед Белым домом, а московский комендант генерал Калинин объявил комендантский час.

Поздно вечером я снова уехал ночевать за город. Ходили слухи, что ночью будет штурм Белого дома, но у радиоприемника с каждым часом начала вырисовываться ситуация явно не в пользу путчистов. Чувствовалось, что их прыть пошла на убыль.

Кстати, прекрасно осветила все события путча московская группа телевизионщиков американской компании Си-Эн-Эн,

она беспрерывно вела свои репортажи из нескольких мест и очень помогала ориентироваться в обстановке, без нее мы оказались бы в положении слепых котят. Было, правда, еще и радио, но разве сравнишь впечатление от его сообщений с телевизионными?

Утром двадцать первого августа приехал в редакцию, а от Белого дома в это время начали отходить войска. Но не это сообщение окончательно убедило меня в провале путча. В производственном отделе типографии я узнал, что цензор утром сбежал. Значит – все! Они проиграли...

Так, несмотря на путч, очередной номер журнала вышел точно по графику, в четверг, двадцать второго, я подписал сигнальный экземпляр «Огонька» «на выпуск в свет». На первых двух страницах лозунг: «Они не пройдут!» Здесь же и дальше наши корреспонденты и фоторепортеры рассказывали о событиях в Москве в последние три дня.

Опубликовали мы Указы Ельцина, а также ответы Шеварднадзе и Бакатина на вопросы редакции в связи с путчем.

На трех страницах напечатали материал об идейных вдохновителях заговорщиков: журналах «Молодая гвардия» и «Наш современник», газете «Литературная Россия», а также и о «Военно-историческом журнале».

На следующих трех страницах – материалы о КГБ и его главе Крючкове, одном из руководителей путча.

В этом же номере опубликовали отрывок из романа «Бикфордов мир» киевского писателя Куркова – о гражданской войне, но не о той, что была у нас вскоре после Октябрьской революции, а о той, что может случиться и чуть было не началась только что!

Нечего говорить о том, что этот номер «Огонька» разошелся мгновенно.

Переворот в редакции

Судьба решила так, что вызванных заговорщиками потрясений в стране нам, огоньковцам, мало: параллельно большо-

му путчу развернулся наш собственный путч в самой редакции. Суть его не будет ясна, если мы не предварим рассказ о нем небольшим вступлением. Для этого придется вернуться назад, в год восемьдесят седьмой...

Тогда у нас в редакции появился в качестве первого заместителя главного редактора Лев Гушин. До этого ни Коротич, ни я его не знали. Он был бывшим комсомольским функционером, секретарем одного из московских райкомов комсомола, потом работал в «Московском комсомольце» и в «Комсомольской правде». Оказался типичным для советской прессы журналистом-начальником.

За все четыре года работы с ним в «Огоньке» я ничего им самим написанного не читал, зато он любил командовать и «работать с кадрами». Ясно было с самого начала, что высокопоставленные старорежимные интриганы из ЦК партии подсадили его под Коротича, они, разумеется, не были в восторге ни от Коротича, ни тем более от Яковлева, им было так спокойнее: иметь своего человека в такой беспокойной редакции, как наша.

Коротич жаловался мне, что в ЦК на него очень надавили, настоятельно проталкивая Гушина. Практически Гушин, ставший первым заместителем главного, «надо мной не сел», Коротич так поделил обязанности между своими заместителями: мне – литература, искусство, международная тематика, спорт, Гушину – внутренние темы, кадры, хозяйственные вопросы.

Меня такой расклад вполне устраивал. Гушин поспешил заявить мне и Коротичу, что в литературе он ничего не понимает, зато в отведенных ему сферах развернулся как надо.

Будучи опытным аппаратным интриганом, Гушин постепенно, не сразу, привел в редакцию немало своих, лично ему преданных людей, при этом журнал пришлось покинуть (штаты ведь не резиновые!) нескольким талантливым журналистам. В таких случаях говорят: не сработались.

Но главным занятием Гушина стала бурная коммерческая деятельность, которая вошла в нашу жизнь вместе с перестрой-

кой. Правой рукой Гущина в этом деле стал пришедший вслед за ним из «Комсомольской правды» его друг Валентин Юмашев, ставший у нас в редакции заведующим отделом писем.

Развернувшаяся под крышей редакции коммерческая деятельность под их руководством приобрела большой размах. При журнале образовались такие дочерние организации, как «Огонек» – видео», фонд «Анти – СПИД», книжное издательство «Вариант» (оно расположилось почему-то в Одессе). Вот как Глотов, ответственный секретарь редакции, пишет о той поре в своих воспоминаниях:

«Коммерциализация жизни захватила нас, но при этом стал очевиден разрыв между возможностями коллектива и тем, что он реально получал. Дочерние предприятия «Огонька» откровенно грабили редакцию, занимались своим делом, явно эксплуатируя наш имидж. Коротич трусил. Перспектива быть уличенным в злоупотреблениях реально нависла над ним. Но коммерческими подразделениями руководил Гущин... В кабинете Гущина теперь обосновался штаб этой околολитературной публики, и сам он был все время занят коммерческими проблемами, летал то и дело в Лондон, и на привычные наши дела отрывался нехотя, с гримасой усталости на лице. Коротич же и вовсе пропал, словно основное место его жительства находилось за границей, а к нам он приезжал в командировки».

Тут самое главное было в том, что, как справедливо отмечает Глотов, Гущин и компания «откровенно грабили редакцию». Именно в этом Совет трудового коллектива «Огонька», наконец, обвинил Гущина и его подручного Юмашева и вызвал в редакцию для проверки аудиторов. Те обнаружили вопиющие финансовые нарушения и предложили Коротичу немедленно отстранить от работы Гущина и привлечь его к ответственности.

Коротич несколько раз один на один со мной обсуждал это дело. Ведь ему наверняка приходилось как главному редактору подписывать немало финансовых документов, подписывать зачастую в спешке, не вникая в них, полностью

доверяясь своему официальному хозяйственнику Гушину. Коротич долго колебался и переживал по поводу всей этой ситуации и, наконец, твердо заявил мне, что на следующий день с утра вызывает Гушина к себе, разрывает с ним все деловые отношения и дает ход результатам аудиторской проверки.

И, действительно, на следующий день он с утра пораньше позвонил мне домой (храбрости, наверное, набирался) и объявил: «Еду в редакцию для последнего разговора с Гушиным, все, надо кончать! Подъезжайте часа через два...»

Когда я приехал в редакцию, Гушин и Коротич все еще сидели за «закрытой дверью» кабинета главного редактора, сидели долго, часа три. Как у них сложился разговор, можно только догадываться, поскольку все осталось на своих местах: Гушин вернулся в свой кабинет, а Коротич в очередной раз укатил в Америку.

После этих переговоров с Гушиным он фактически перестал заниматься журналом и начал подыскивать себе работу в США – к моему удивлению, меня он об этих своих планах предупредил перед отъездом в Америку. Убежден, что Гушину было чем запугать Коротича, ко всему прочему к тому времени наш покровитель Яковлев утратил свое влияние на Горбачева, который тоже сидел уже непрочно, а без Яковлева Коротич ничего не значил.

История с уголовщиной в «Огоньке» была замята, но о ней подробно рассказал популярный тогда журнал «Столица», на его восьми (!) страницах председатель Совета трудового коллектива журнала и член редколлегии Вигилианский поведал о том, что же на самом деле произошло в «Огоньке». Мало этого. Весь Совет трудового коллектива в полном составе – девять человек покинул редакцию после того, как Коротич прикрыл расследование дела Гушина. Так начался закат перестроечного «Огонька».

Вот несколько цитат из журнала «Столица»:

«Одной тысячной из собранных Коротичем фактов было бы достаточно, чтобы указать Гушину на дверь. Коротич это-

го не сделал – тем самым превратив нас в соучастников своей трусости и беспринципности»;

«Гущин с ближайшим своим сподвижником Валентином Юмашевым вместо того чтобы как минимум хотя бы сделать вид, что они оскорблены и потребовать новой ревизии с послушным им составом комиссии, в открытую несколько дней праздновали победу – с шампанским, обильной закуской и цветами»;

«Коммерческие подразделения, руководимые Гущиным, сдавали нам липовые отчеты, однако внимательное прочтение их даже нам, несведущим, сразу открыло серьезные злоупотребления»;

«Пригласили независимую аудиторскую службу для ревизии «Огонька» – видео», а таких подразделений в журнале было пять. Результаты были ошеломительны! Выяснилось, что эта фирма, учрежденная журналом, официально нигде не зарегистрирована, никому не платила налогов, продукцию свою под крышей «Огонька» продавала (в том числе и на Запад) незаконно, все отчисления редакции растрачивались Гущиным и Юмашевым так, как будто это были их личные деньги»;

«Поражало в «Огоньке» пренебрежительное отношение к талантам. Гущин перекрывал кислород тем, кто не превращался в его холуев, да и Коротич с невероятной легкостью расставался даже с ценимыми им незаурядными журналистами»;

«Гущин и его «команда»... Даже не хочется влезать в их шкуру, но методы их мне известны. Они ужасно самолюбивы и мстительны. Главное их оружие – демагогия и клевета».

Автор этого материала в «Столице», Вигилянский, был известным литературным критиком. Он и его жена, поэтесса Олеся Николаева, были глубоко религиозными людьми, и после всей этой истории Вигилянский стал священником, оставив блестящую литературную карьеру.

Видимо, новое жулье перестроечного типа произвело на него слишком сильное впечатление. Вспоминаю, что в разговорах

со мной он больше всего поражался их беспардонной безнравственностью: «Воровать у своих коллег!» – возмущался он.

В редакционном вступлении к этому материалу журнал «Столица» сообщал: «На наш взгляд, эта история, ее развитие и финал – «клиническая смерть» лучшего политического еженедельника страны – многозначительнее и шире кулуарных баталий. Выслушав одну сторону, мы, впрочем, готовы предоставить слово и другой стороне».

Но «другая сторона» на этот призыв не откликнулась. И даже не обратилась в суд за то, что ее публично обвинили в хищениях в особо крупных размерах.

Как же Гущин и компания смогли уйти от таких обвинений даже после публикации в «Столице»?! Случай помог! Номер журнала с огромной статьей Вигилянского вышел в свет сразу после провала августовского путча, то есть после полной победы Ельцина. Тогда обвинять Юмашева в такой уголовщине означало бросить тень на самого Ельцина, к тому времени Юмашев стал его официальным биографом, ближайшим соратником и другом.

Конечно, Ельцин не мог не знать о скандале в «Огоньке» и роли в нем Гущина и Юмашева. Недаром журнал «Столица» вскоре был закрыт. А сегодня уже всем известно, сколько жулья слетелось к Ельцину за годы его правления.

Но вернемся к перевороту в редакции «Огонька». Надо же было случится такому совпадению: пробыв два месяца в США, Коротич взял билет на Москву на девятнадцатое августа! Уже собрался поехать в аэропорт, когда узнал о путче в Москве. Сдал свой билет и вернулся к нам уже после путча. А вот Гущин поспешил его опередить со своим возвращением из Германии.

Вскоре стало ясно, что он вернулся захватить место Коротича, пока тот застрял в Америке. По редакции журнала пополз слух: вот главный редактор бросил нас, испугался, нам такой главный не нужен. Это мнение нашло в редакции благодатную почву, поскольку, повторяю, Коротич все заметнее отходил от редакционных дел.

Важно и то, что в редакции к тому времени было уже немало сотрудников, набранных лично Гушиным и Юмашевым, за последним стоял самый многочисленный у нас отдел писем – более тридцати человек.

Гущин позвонил Коротичу в Нью-Йорк и сообщил тому, что коллектив намерен просить его уйти в отставку. На это Коротич ответил, что он сам просит освободить его от обязанностей главного редактора в связи с тем, что будет преподавать в США. К тому времени гущинская команда уже обошла всех сотрудников с письмом, в котором требовалась отставка главного.

Я его подписать отказался. Общее собрание редакционного коллектива «избрало» Гущина главным редактором вместо Коротича. Буквально в ту же минуту Гущин предложил мне уйти на пенсию, что я незамедлительно сделал.

У меня было приглашение читать лекции в американском университете в штате Висконсин, туда я и отправился.

С тех пор с Коротичем и Гушиным я ни разу не общался...

По следам загубленного журнала

Свой отъезд в США Коротич объяснял в прессе уже по возвращению таким образом:

«Я правильно сделал, что уехал. Поясню на конкретном примере. Я все время терся между двумя жерновами. С одной стороны – Михаил Сергеевич Горбачев. С другой – заведующий отделом писем моего журнала Юмашев, который писал воспоминания Ельцина.

Меня вызвал Горбачев и говорил: «Ты этого идиота размажь. Вообще, ты знаешь, он сумасшедший» (*это – о Ельцине – В. Н.*). А Валя Юмашев приносил мне воспоминания Ельцина и предлагал публиковать. Я не печатал ни того, ни другого. То есть какое-то время я балансировал, а потом, честно говоря, я начал от этого устывать...»

Коротич пробыл в США семь лет, читал студентам лекции о журналистике. Вернулся в Москву в девяносто вось-

мом году и тогда же дал интервью газете «Вечерний клуб», в котором, в частности, есть такие строки:

«— Жалеете, что в последние годы так сдал «Огонек»?

— Жалею. Но такой исход можно было заранее предположить: к его руководству пришли люди, которые даже в лучшие годы журнала думали не о нем, а о том, чтобы побольше урвать в свой карман.

— Вы называете конкретные имена — своего первого заместителя Льва Гущина, который после вас стал главным редактором, и Валентина Юмашева, который возглавляет администрацию президента. Теперь их нет в редакции.

— Это не играет роли. Развалить дело гораздо проще, чем создавать заново».

В двухтысячном году Коротич издал книгу воспоминаний — «От первого лица». Одна глава в ней посвящена «Огоньку», но в ней он пишет исключительно о Гущине и Юмашеве, видно, так сильно они ему досадили. Вот как, например, Коротич комментирует появление Гущина в редакции:

«Делать дела с чиновниками я не мог без одного из «ихних», зама-администратора... Сразу же мы условились с новым заместителем — он панически об этом просил, — что не будет читать ничего из материалов, готовящихся к печати, особенно по искусству. Удел нового заместителя — дела сугубо хозяйственные, административные... Ничего не знал о литературе и искусстве, поскольку в его обязанности никогда не входило знать об этом.... Он, по райкомовскому обычаю, считал любые попытки выяснить смысл жизни через искусство и литературу, делом сомнительным, панически боялся писателей и того, что они приносят в редакцию».

Как видите, никаких расхождений с тем, что я рассказал о Гущине чуть выше. Кроме этого, Коротич в своих воспоминаниях пишет также и о том, как Гущин и Юмашев тайно и незаконно продавали за рубеж материалы, опубликованные в «Огоньке», а гонорары за это литературное воровство клали на свои зарубежные счета. То есть обворовывали свой родной коллектив.

«Ситуация в «Огоньке», – пишет Коротич, – один к одному повторяла происходящее в российском правительстве. Загадочные решения, высокие интересы... При этом ежу понятно, что многие руководители «дуют на сторону», «гребут под себя», пылко рассуждая про благо народное... Убрать таких людей невыносимо сложно, потому что каждый укреплен в сети взаимовыгодных связей, которая способна поддерживать очень долго... Огоньковская ситуация напоминала общегосударственную, так как строилась по одинаковым правилам. Я упустил возжи (или рысаки были уже не по мне). Увы, и я, и многие российские руководители с большим опозданием поняли, насколько важно держать процесс под контролем. Государство российское сегодня не очень спешит принимать законы, нормирующие чиновничьи выкрутасы».

Мало этого. Коротич вспоминает, как Гущин и Юмашев пытались втянуть его в свои незаконные махинации: *«Мне раз за разом объясняли, что время сейчас такое – хороший чиновник может заработать, ничем не рискуя. «Да прикрытие, – вполголоса добавлял мой заместитель, – у нас тоже есть». Юмашев объяснял мне, что любое прикрытие будет обеспечено именно ельцинскими людьми, поэтому их надо поддерживать, где возможно».*

И, наконец, Коротич объясняет, почему он ничего не мог поделать в создавшейся тогда ситуации:

«Мне было очень непросто, но на радикальную перетряску редакции не было уже сил, и если честно, то и желания. Ельцин входил во власть, вводя туда за собой целый хвост верных людей, одним из которых был Валентин Юмашев. Начинать войну именно сейчас – значило перейти к борьбе без правил, к той самой схватке на рыбьих потрохах, которую иногда устраивают в американских цирках... Я пишу все это, раскаиваясь. В «Огоньке» времен его взлета скрестились два главных направления жизни и не смогли соединиться. Романтический дух перемен, надежды на лучшее и спокойная уверенность воровской братии, все больше забирающей власть, сталкивались не только в журнале – во всей стране».

Все верно! Тот факт, что скандал в «Огоньке» переплелся с политикой (путчем) и финансовыми махинациями (вскрытыми без труда аудиторами) лишний раз продемонстрировал кровное родство журнала с придворной верхушкой.

Алчность партийных и государственных чиновников в свое время сдерживал страх, царивший над всеми при сталинском режиме. При Хрущеве и Брежневе страх пошел на убыль, а при Горбачеве и Ельцине вообще исчез.

Уж тут номенклатура разгулялась! Причем, срослась, породнилась с преступным миром! Многие из ближайшего окружения Горбачева и Ельцина оказались замешанными в коррупции, сказочно быстро разбогатели и даже не отвечали на обвинения со стороны общественности, словно их не слышали.

Одним из них оказался наш Юмашев, ставший одним из первых миллионеров ельцинского набора после того, как побывал в должности главы президентской администрации и затем стал зятем Ельцина, женившись на его дочери Татьяне Дьяченко.

В апреле две тысячи второго года наша самая популярная газета, «Московский комсомолец», опубликовала материал под названием «Семья» взялась за оружие» (имелся в виду клан Ельцина), в нем, в частности, говорится:

«Рождение дочери у Татьяны Дьяченко и Валентина Юмашева, если верить молве, не единственный прорыв в жизни «семьи». По слухам из министерства обороны, ее представители начали активно отвоевывать свои позиции в оборонно-промышленном комплексе, который до прихода нового президента (*то есть Путина – В. Н.*) контролировали почти полностью. К примеру, «Росвооружение» возглавлял школьный друг Татьяны Дьяченко Алексей Огарев. Благодаря «семейному» контролю в середине девяностых годов, наша оборонная промышленность и наука едва не скончались. При Путине отрасль начали постепенно выводить из-под смертоносной опеки, и она вновь потихоньку становится на ноги. Но «семья», по слухам, мириться с таким положением не на-

мерена – тем более что в бюджет пошли большие деньги от новых контрактов, производство наладилось... Слухмейкеры утверждают, что «семейная» атака оказалась столь мощной, что некоторые позиции удалось отвоевать. Свидетельство тому – размещение китайского заказа на эсминцы на одном из подконтрольных «семье» предприятий и создание «Концерна ПВО» по «семейному» сценарию. А очередной мишенью, по слухам, станет «Рособоронэкспорт» и его руководство. Ведь именно экспорт военной техники – одна из самых прибыльных статей».

В том же году газета «Московский комсомолец» публикует большой материал с несколькими фотографиями под заголовком: «Семейный» монстр заглатывает экономику России». В нем подробно описываются жизнь и дела руководителей этого монстра: двух миллиардеров-олигархов, Романа Абрамовича и Олега Дерипаски (*женат на дочери Юмашева от его первого брака – В. Н.*), Юмашева и его жены Татьяны. Название этого материала полностью соответствует его содержанию.

Время идет, но на этом фронте все по-прежнему без перемен: похоже, что у нас сегодня сокрушительнее денег силы нет. Так, та же газета «Московский комсомолец» в марте две тысячи пятого года в своей публикации «Рома, пакорми чукчей дома!» пишет о том, как Абрамович тратит сотни миллионов на роскошь и свои прихоти, при этом иностранная пресса называет эти его расходы «просто безумными».

«Московский комсомолец» также не забывает упомянуть, что Абрамович является «бывшим кассиром» ельцинской семьи и что его состояние оценивается в тринадцать с лишним миллиарда долларов.

В январе того же года «Московский комсомолец» публикует большой материал о Татьяне Дьяченко, «одной из самых богатых женщин Европы», оказывается, что «она особенно любит вещицы с бриллиантами одной известной фирмы».

Я никогда и нигде не встречал опровержений на эти и другие материалы о ельцинской «семье». Остается только констатировать: вот как далеко шагнул Валентин Юмашев с помощью Ельцина!

Таким образом, журнал «Огонек» стал вместо лидера перестройки еще одним источником и рассадником коррупции, погубившей ее.

К сожалению, коррупция эта одной ельцинской семьей не ограничивается и разлагает все наше общество. Один только пример, поразивший меня, поскольку речь пойдет о человеке, у которого репутация, казалось, была безупречной.

У меня были хорошие отношения с американским послом в Москве Джеком Мэтлоком. Ему нравился наш перестроенный «Огонек» и он не мог не одобрять моего трезвого отношения и симпатии к его родине.

Как-то в самый разгар перестройки он пригласил меня отобедать в его резиденции с ним и Станкевичем, очень популярным тогда советником Горбачева.

За обильным столом и хорошим вином мы просидели часа два. Мне было ясно, что Мэтлоку хотелось завязать отношения с влиятельной персоной, но он решил, что повстречаться с ним будет удобнее не с глазу на глаз. Я был приятно удивлен, что Станкевич оказался симпатичным и довольно молодым человеком, умным и грамотным, мыслящим широко и прогрессивно.

И вот уже при Ельцине Станкевича обвинили в печати в финансовых махинациях, связанных с его служебным положением: с подробностями, документами, цифрами и фактами. Он долго отмалчивался. Генеральный прокурор попросил Думу лишить Станкевича парламентского иммунитета, поскольку тот подлежал уголовному преследованию. Дума прокурору отказала, причем, сделала это по инициативе Жириновского!

А вскоре Станкевич сбежал из России в Польшу. Через несколько лет тихо-тихо вернулся в Москву, где его тогдашние прегрешения – речь шла о присвоении им десятков тысяч долларов, уже и не казались большим преступлением.

Конечно, это частный пример. Но вот и более общий, по моему, вопиющий пример того, как Россия страдает от воровства.

В восемьдесят пятом году в СССР государственный золотой запас составлял две с половиной тысячи тонн. В девяносто первом году – двести сорок тонн. Куда за шесть лет девалось более двух тысяч тонн золота?! Это официальные цифры. Они приводились в нашей прессе, откуда я их и взял.

Как и все в нашей стране до девяносто первого года, золотой запас принадлежал единственной реальной власти – Политбюро ЦК партии. Значит, тот же Горбачев не мог не знать, куда он при нем девался.

Когда эти цифры стали известны, то пресса заговорила о «золоте партии». Тут же последовала серия загадочных смертей среди высокопоставленных лиц, в том числе покончили жизнь самоубийством (по официальной версии) Павлов, бывший управляющим делами ЦК КПСС при Брежнев, и Кручина, его преемник на этом посту. Концы в воду?

Девяностые годы были в «Огоньке» уже не временем творчества и борьбы за свои идеалы, а временем борьбы за выживание. Росли цены на его издание, катастрофически падал тираж журнала – с почти пяти миллионов до нескольких десятков тысяч, бесценная связь с читателем оборвалась.

Прекратился традиционный регулярный выпуск «Огонька» каждую неделю, иногда в месяц выходило по два номера вместо четырех, иногда – один. Без известной близости к Ельцину (и Юмашеву) журнал вообще мог бы прекратить свое существование. Вот «Огонек» и старался, как умел.

Словно не зная, что в то время рейтинг Ельцина стремительно приближался к нулю, журнал отважно писал, что его правление «избавило нас от прелестей немедленной отдачи российских дел под практическое руководство прогрессивных западных идиотов». Мало этого. Редакция назвала самыми выдающимися россиянами за двухтысячный год и объявила Лауреатами премии «Огонька» следующих лиц: Трошева,

генерала, отличившегося в Чечне; Добродеева, председателя компании ВГТРК (государственного радио и телевидения); Лесина, министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Российской Федерации; Громова, пресс-секретаря президента России.

Такой акции, такого «лауреатства» в истории журнала еще не случалось. Если бы в известной книге рекордов Гиннеса отмечали среди всего прочего и наивысшие достижения в области прилюдного подхалимажа, то эта акция редакции журнала, несомненно, попала бы на ее страницы.

При Путине-президенте закончилась долгая эра «Огонька» как придворной летописи.

Каким журнал является сегодня? Никаким, обыкновенным, о нем мало кто знает.

О старом «Огоньке», прожившем с двадцать третьего по восемьдесят пятый год, многие люди еще не забыли, а о журнале, выходившем с восемьдесят шестого до девяносто второго года, все вспоминают как о чуде, которое случайно выпало в жизни на их долю.

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Ольга Панченко

Большой пardon

Виктор Саныч в детстве любил рисовать. Он рисовал людей, животных. Может быть, под влиянием французских сказок, читанных ему вслух, он пристрастился к изображению барашка и розы. Они получались на редкость удачно, нравились взрослым. И в конце концов Виктор Саныч научился рисовать их, не отрывая карандаша от бумаги. И в его лице уже тогда появилось что-то мягко-извиняющееся. Но понятно было, по какой причине он извинялся.

Признанное соседями и сослуживцами родителей художественное дарование Виктора Саныча и определило его дальнейшую судьбу. Он недоедал, подрабатывал репетиторством, учась в одном из художественных училищ не то Саратова, не то города Тамбова. Наконец, он получил синенький диплом, почти «с отличием», если не принимать во внимание три «хора». Потому что когда он прищуривал правый глаз, эти три нарушающие общую гармонию записи, оказывались не видны. Так что диплом оказывался «с отличием».

Любимым мотивом живописи Виктора Саныча были по-прежнему розы и барашки. Это слегка мучило его: сюжет становился слишком не нов, хотя «Маленький принц» Экзюпери в то время был в моде у читателя.

Тогда Виктор Саныч отделил барашков от розы: он принялся рисовать барашка на фоне фермы, а розы – в глубине современного интерьера. Временами ему мерещилась какая-то еще не написанная картина. Он просыпался ночью в холодном поту, открывал этюдник, пытаясь изобразить увиденное во сне. Но получались какие-то непонятные мазки, казавшиеся еще пять минут назад – в сновидении – дивными.

В молодости Виктор Саныч был мечтателем. Он мечтал дома, а также в обеденный перерыв и особенно по воскресеньям, когда с зонтиком и большим этюдником на ножках, похожим на растопыренные куриные лапы, выходил на пленэр.

Он мечтал, как и следовало молодому мечтателю, о прекрасной женщине, умной, красивой и совершенной, бормотал под нос про «весну без конца и без края» и даже повесил «Венеру» Джорджоне над письменным столом. На службе – в производственных мастерских, где вокруг кипела работа по созданию наглядной агитации – стендов, плакатов, транспарантов к очередному празднику, он мог подолгу стоять у окна, глядя в ночную бездну бессмысленными глазами, так что сослуживцы стали беспокоиться за его нервную систему.

Но все образовалось как-то само собой. Виктор Саныч женился на Зине Чулковой – продавщице из магазина «Изобразительная продукция». Первые месяцы он ходил порозовевший и смущенный. Теперь он рисовал Зину среди роз, с цветами в волосах, с букетом у ног. Но довольно скоро идиллия кончилась, ибо достоинств у Зины оказалось немного. Она хорошо солила огурцы и варила студень. А в свободное от этих занятий, о также от продажи художественной продукции все время пела, прикрыв глаза и замирая от нутряного восторга: «А-а-а-твари поскорее калитку и войди в сад густой, словно тень». У нее было меццо-сопрано, дребезжащее, как пружина, когда она брала слишком высоко.

Большую часть дня Виктор Саныч проводил на работе. Всего за несколько лет он заметно постарел, стал раздражителен, что никак не вязалось с его извиняющейся полуулыбкой. Его раздражала тесная коммунальная квартира – с Зиной,

общей кухней и соседкой-наушницей. Он не кричал, а ворчал что-то по-стариковски, хотя был еще совсем не стар. Он жил по инерции, по инерции раздражался и, несмотря на это, не хотел нарушать в своей жизни ничего. Лишь иногда ранней весной, когда на городской улице снег уже лежал линиями островками, а в воздухе пахло весной и прошлогодней прелью, Виктору Санычу становилось не по себе. Хотелось бросить все, уехать куда-нибудь подальше, начать работать по-новому и написать, наконец, ту самую картину, что грезилась ему в молодых снах. Но весенняя пора проходила быстро, наступало душное лето: дачный сезон, иступленно-равнодушное состояние, когда люди днем млели от жары, а вечером начинали хлопотать, суетиться и ложиться спать во втором часу ночи.

Виктор Саныч тоже суетился. Он доставал детям путевки в лагерь, жене – в Кисловодск, на воды. Зину Виктор Саныч не любил давно, а, может быть, и вообще не любил, просто спутал с теми изображениями женских лиц на открытках, которые, коллекционируя, покупал у Зины будучи холостяком, каждую неделю. Через два года женитьбы он хотел разойтись, но не ушел из жалости. Зина ужасно плакала, кричала, что он погубил ее молодость, что были люди уж, конечно, лучше Виктора Саныча – врач-стоматолог Хромов, художник Саша Суетин. Виктор Саныч не выносил женских слез, тем более – рыданий, он пытался чем-то утешить Зину – и уйти уже не смог. Утром потихоньку, пока Зина еще спала, он разобрал свой старый чемодан и спрятал его глубоко под кровать.

Но однажды Виктор Саныч все-таки уехал, вырвался в родные места – в маленькую деревушку Бураково, под Москвой. Он поехал вместе с художником – графиком Арнольдом Городецким, высоким, всегда свежеевыбритым, немного напоминавшим в профиль грача. Виктор Саныч три раза в день ходил на этюды, а Городецкий, уединившись, рисовал иллюстрации к «Фьезоландским нимфам» Боккаччо. Какой-то ракурс никак не выходил у Городецкого, и за неимением

натуры – окрест жили одни старухи не моложе семидесяти лет – Виктору Санычу пришлось позировать нагишом. Он пекся на июльском солнце, а сзади сидел Арнольд и изображал вместо веснушчатой спины Виктора Саныча почти рубенсовское тело фъезоландской нимфы. Об этом Городецкий проболтался потом кому-то из друзей, и за глаза Виктора Саныча стали называть тетей Витей.

Прошло еще сколько-то времени. На юбилейную выставку «Двадцать лет работы» Виктор Саныч выставил все свои стада, цветы и пейзажи. Казалось, что он почти перестал сомневаться в себе, материальные дела стали поправляться. Два натюрморта – розы и ирисы – купили роддом и областная библиотека. Пейзаж «Гонят стадо», написанный в молодости, захотел приобрести совхоз-техникум.

Какой-то корреспондент местной газеты взял у него интервью, что Виктору Санычу было необыкновенно приятно. Он даже сам проникся к себе некоторым уважением после того, как прочитал на третьей полосе воскресного номера: «Цветовая гамма глубоких картин-размышлений нашего замечательного земляка скромна и сдержана. Вот отчего в лучших картинах художника так много внутренней импульсивности». «Черт, и не подозреваешь ведь», – хмыкнул Виктор Саныч, в восьmero свертывая газету и засовывая ее в карман пиджака.

На банкете после открытия выставки Виктор Саныч явно выпил лишнего. Он был очень весел и, как мог, галантен с дамами. Он много танцевал, если можно было назвать танцами его нестройную ходьбу на месте, и без конца извинялся: «Большой пардон, большой пардон», – наступая на чужие ноги. Он даже сплясал «русского» по кругу и отважно пытался вальсировать с директрисой художественного музея.

Раза два Виктор Саныч тыкал пальцем в какую-то свою картину с розой и говорил, обращаясь к потолку, принимая его за корреспондента местной газеты: «Я ее еще напишу. Увидите – ахнете». Вокруг понимающе кивали. Но никто не понял, да и не старался понять, что означала эта таинственная «она».

Потом Виктор Саныч неожиданно исчез. О нем позабыли, а вспомнили лишь под утро, когда Городецкий начал бить стекла, и все поняли, что пора расходиться.

Нашли Виктора Саныча в передней за шкафом. Он лежал, привалившись к ножке шкафа плечом, в изрядно помятом костюме. Свет падал на начищенные, как из магазина, черные туфли. Зина по привычке начала ругать его за свинство, припомнила, что были люди лучше и благороднее, но, подойдя поближе, пронзительно завизжала.

Виктор Саныч был мертв. Его лицо побледнело, но не изменилось. Это было его, викторсанычево лицо, с извиняющейся робкой полуулыбкой. Рядом валялась недопитая бутылка «Столичной» и «Венера» Джорджоне в золотой багетовой раме, упавшая с гвоздя, должно быть, от топота и плясок гостей.

Говорили, что Виктор Саныч подавился косточкой от бифштекса, застрявшей в дыхательном горле.

В Москву, в Москву...

Он, в большой заячьей шапке, вбежал в вагон постепенно наполняющейся электрички, и деловито пристроил под сиденье две тяжелые сумки, какие возят теперь в столицу из Орла, Рязани, Твери. Кинув на свободные места большие перчатки с растопыренными пальцами, он исчез. И появился через минуту. За ним по узкому проходу шли: молоденькая женщина с заострившимся книзу лицом и, очень уверенно, враскачку, мальчик лет трех.

Они уселись рядом: его мокрая от снега заячья шапка прижалась к ее ушанке из рыжей лисы. И круглая голова мальчика, с которого сняли вязаный колпачок, оказалась слишком голой. Заячья шапка назвал мальчика по имени – Леша, а женщину не называл вовсе, но смотрел на нее с пристальным вниманием, будто был готов по первому ее слову

идти по шпалам до самой Москвы с этими топорщащимися сумками.

– А почему там рельсы, а поезда нету? – удивился мальчик, показывая за окно. – А почему там темно? А где лампочки зажигают? – Его распирало от нерастроченной энергии. И он то прыгал на коленях у женщины, то прикинул носом к окну и, расплющив его о стекло, начинал петь:

– А, Серега-Серега, ты не стой у порога, я теперь не твоя.

Иногда почти замолкал, курлыча что-то на свои выдуманные слова, и вдруг вскрикивал, как от укуса. Так что сидящая напротив старуха вздрагивала. Он отлипал от окна и, разводя ладони точно на сцене, полупел-полукричал:

– Я-а типерь ни тва-ая.

Видно, ему было лень повторять все сначала. Потом он усаживался на руки к матери и болтал ногами, как бы танцуя, задевая валенки старухи, сидящей напротив.

– Зачем ты топчешь бабушку? – больше из вежливости говорила мать. А бабушка с косоватым ртом, похожая на капусту, не сердилась вовсе:

– У мне тож негодница. Лежим мы с ней, сказку ей рассказываю про козу и волка. А она, баловная, крутится и крутится. Я ей: отдам тебя волку, говорю. А она:

– Не отдашь. Он пьяный у козы на поминках.

– Вот видишь, – старуха ткнула в полиэтиленовый пакет, внутри которого болталась веревочка, – приказала мне привезти назад. Деловая.

Она улыбнулась, согнав морщины к уголкам глаз, и добавила:

– Ты пой себе, малый, пой!

Мать мальчика достала из сумки три красных яблока. И они все вместе захрустели, врезаясь зубами в сочную мякоть. Но малому скоро расхотелось яблока, а захотелось именно того, которое догрызал Заячья шапка.

Заячью шапку звали Мишей. Леша и Миша были удивительно похожи. Оба одинаково липли к женщине. Ма-

ленький целовал ее, надувая щеки и как бы пуская пузыри. Большой, за спиной у маленького, соблазнял ее половиной «Сникерса», другая часть которого была у него во рту. Она откусывала «Спикерс» кусочками, встречаясь губами с Мишей, и он на минутку присасывался к ее крашеному розовой помадой рту.

Казалось, что они – Леша и Миша не могут прожить без нее ни секунды. Маленький просил питья, еды, потом она бочком выводила его в тамбур – пisać. После чего он опять шумел и пропел раз пять:

– Ах, Серега-Серега, ты не стой у порога...

Большой, когда они выходили, держал их место и смотрел на двери так, будто они могли скрыться за ними навсегда: выпрыгнуть в окно и улететь вместе со снегом.

Он даже купил газету, чтобы отвлечься, пока их не было, в которой продавец газет подросток с ломающимся голосом обещал дамам и господам статьи на криминальные, эротические, звериные и лечебные темы.

И чем ближе этот нерасторопный поезд, называемый электричкой, приближался к Москве, тем сильнее Миша тянулся к женщине, то усаживаясь вплотную, то поправляя ей перевернувшуюся сережку в мочке уха.

Перед Москвой-сортировочной она достала зеркальце и, кокетничая со своим отражением, покрасила губы. Получилось розовое сердечко. Оно очень понравилось мальчику, и он сказал:

– Когда вырасту, буду обязательно краситься, как ты.

Мать и Миша стали дружно надевать на него вязаный колпачок, пальтецо с цигейковым воротником и обматывать его шарфом, улыбаясь и обмениваясь случайными прикосновениями.

Они выходили, держась за руки. Мальчик обернулся и, глядя на старуху, медленно собиравшую свои торбы, пел на прощание:

– А Серега-Серега, я теперь не твоя.

Виктор Кузнецов

Мой друг Еркин...

Анатолий Василевич Еркин, мой друг и однокашник по геологическому факультету Казанского университета, заслуженный геолог Якутии, а ныне – простой пензенский пенсионер, во время Второй мировой войны ребенком почти два года провел в нацистском концлагере – вместе с родителями, сестрой и братом.

...С тех пор миновали годы и годы. Но память продолжает цепко удерживать в ночных снах Анатолия события весьма уже далеких «немецких» лет. У него выросли свои дочери, подрастают внуки, но жена по-прежнему частенько трясет моего друга за плечо: «Толя, Толя, проснись!» И он просыпается весь в поту и рассказывает о бомбах или об автоматчиках – обо всем, что не отпускает его вот уже шестьдесят с лишним лет...

Родился Анатолий в тридцать девятом году в поселке Залегощь – в шестидесятипяти километрах от Орла. Мать его, Пелагея Егоровна, происходила из семьи довольно благополучной – по скромным деревенским меркам, конечно. Отец ее был бухгалтером у местного помещика, а дед держал пасеку. В двадцатые годы благополучие кончилось: семью раскулачили, пчел уничтожили, деда и прадеда сослали в Соловецкие лагеря, где они оба и отошли в лучший мир.

Мать осталась на свободе, так как к тому времени была замужем за отцом Анатолия, состоявшим членом какого-то

комитета. Но скоро карающая рука советской власти не миновала и его: отца Анатолия арестовали и год или два продержали в орловской тюрьме.

В год появления Анатолия на свет отец окончил ветеринарную школу. Семья, где росли уже трое детей, начала становиться на ноги. Но в одну из ночей односельчане подперли кольями двери нового дома ветеринара и подожгли... Все члены семьи Еркиных уцелели, но остались практически голыми.

От сумы до колючей проволоки

Война быстро докатилась до Орловщины. Залегощенский район оказался «под немцем» уже осенью сорок первого. По соседству, близ Ельца и Ливен, шли тяжелые затяжные бои. Крестьян из прифронтовой полосы оккупанты выселили на запад области. О том времени сам Анатолий ничего, естественно, не помнит. Только из рассказов старших знает, что тяжело болел, побывал на краю гибели, но чудом выздоровел – чему, конечно, способствовала забота родных...

Еще он знает, что старшие сестра и брат собирали по окрестным деревням милостыню. Люди на оккупированной территории сами жили впроголодь, и мальчик и девочка чаще всего возвращались домой ни с чем. Того, что им иногда подавали, не хватало, чтобы утолить голод. Сытно поесть удавалось только, когда на полях попадались замерзшие трупы лошадей. От них отрубали куски мяса и этим поддерживали свое существование.

В середине сорок третьего года семья оказалась на территории Польши – где точно, Анатолий не помнит. «Потому, – подчеркивает, – не помню, что после войны о событиях военного времени ни мать, ни отец практически не вспоминали. Вокруг была такая обстановка, что рассказывать, как побывал в плену, не следовало».

В Польше Анатолий чуть было не утонул. Никто не видел, как мальчик оказался в воде, и его потащило вниз по

течению. Из реки ребенка вытащил поляк, проходивший по берегу и увидевший утопающего...

Той же осенью Еркиных перевезли в нацистскую Германию. Память Анатолия не сохранила названий лагерей, в которых семье пришлось побывать. «По словам мамы, – говорит он, – Циттау под Лейпцигом, откуда нас освободили в конце апреля сорок пятого, был четвертым лагерем, куда мы попали».

Военнопленные там содержались в бараках, гражданские заключенные – в вырытых ими же широких траншеях, перекрытых сверху настилом из досок и веток. Территория была разбита на зоны, отгороженные друг от друга колючей проволокой. Норвежцам, датчанам, французам, заключенным из других европейских стран иногда приходили посылки Красного Креста; немцам, чехам, полякам – кое-какие передачи из дома. Советские были лишены всего. И хотя большую часть продуктов, присылаемых обществами Красного Креста, палачи забирали себе, кое-что доставалось и заключенным. Как рассказывала мама, если из другой зоны в нашу бросали конфеты или печенье, немцы сразу же открывали огонь из пулеметов и разгоняли детвору, бросавшуюся подбирать лакомства.

Пелагея Егоровна была уверена, что семье удалось спастись благодаря молитвам, которые постоянно читал ее сын. «Я, действительно, знал много стихов и молитв, заученных со слов мамы. И постоянно твердил их по ее просьбе, хотя и ничего не понимал... Она считала, что детский голос легче доходит до Бога, и это помогает нам выжить в тех страшных условиях. При бомбардировках, например, мы прятались в специальные траншеи. Был случай, когда бомбы упали справа и слева от нас, похоронив под обломками множество людей. А мы остались живы... Были и еще случаи «чудесного» спасения. Мы всей семьей находились под яблоней, над нами летали самолеты, вокруг падали бомбы; пробежавший мимо мужчина крикнул, чтобы мы быстро покинули свою «защиту». Не успели мы отбежать несколько метров, как сзади

раздался страшный взрыв и, оглянувшись, мы увидели, что бомба упала прямо туда, где росла эта яблонька. Это я уже помню сам, и у меня до сих пор в глазах яблоня, летящая в воздухе вверх корнями. Мы опять остались живыми».

Сестра Аня, которой едва исполнилось семнадцать лет, работала на рытье траншей, до краев заполненных холодной водой. От постоянного переохлаждения у нее развился туберкулез, и она оказалась в лазарете, который находился за территорией лагеря. Иногда родителям, Анатолию и его брату, которому было уже четырнадцать, разрешалось навестить больную.

Однажды Анатолий подполз под лагерьную проволоку и оказался за территорией лагеря. Зная дорогу, он самостоятельно отправился в лазарет и дошел туда без приключений. Возвращаясь через деревню, он столкнулся с группой немецких мальчишек. И в ответ на угрозы, показал им кукиш. Мальчишки, погнавшись за ним, стали бросать камни. Один, попав в цель, пробил одежку и застрял в спине. Отметка от того камня есть на теле Анатолия и сегодня – в виде небольшого шрама...

В апреле сорок пятого к воротам Циттау подъехал американский танк в сопровождении мотоциклистов. Когда американцы уехали, немцы отобрали нескольких женщин и приказали им вымыть бараки, где находились советские военнопленные. Потом пленных вновь загнали в бараки, забили двери и окна досками, облили бензином и подожгли. А гражданскому населению лагеря объявили: если в их зоне будет обнаружен хотя бы один из наших спасшихся солдат, всех находящихся там – а это, в основном, женщины и дети – расстреляют.

Из полыхавших барачных вырываются заключенные, и их встретили пулеметные очереди с вышек. Некоторые бросались на колючую проволоку, и гибли под безжалостным огнем охранников. Один солдат все-таки проник в гражданскую зону. Женщины, несмотря на предупреждения немцев, сорвали с несчастного полосатую одежду, натянули на него женскую, и спрятали в углу траншеи.

Уничтожив советских военнопленных, немецкая охрана покинула лагерь, никого больше не тронув. На второй или

третий день пришли американцы. И передали заключенных представителям Красной Армии.

Кончина сестры Анны

Сестре Анатолия, продолжавшей находиться в лазарете, с каждым днем становилось все хуже. На теле образовались пролежни. Советские врачи сказали, что на родине спасти девушку, может быть, и удалось бы. Но переезда она не выдержит. И Анна осталась умирать на чужбине. Семье разрешили быть возле нее до конца. Аня умерла совсем скоро после долгожданного Дня Победы, всего неделю не дожив до девятнадцати лет...

За несколько дней до смерти она сказала, что очень хочет куриного бульона. Мать, решившись украсть курицу в немецкой деревне, отправилась туда и в одном дворе увидела несколько куриц. Хозяина не было видно, и она, зайдя в калитку, стала подзывать кур. В этот момент появился хозяин, схватил женщину за руку, прижал к стене сарая, достал пистолет и с криком «руссиише швайне» ударил рукояткой по голове, а потом вытолкал за калитку.

Пелагея Егоровна, вся в слезах и еле живая, прислонилась к изгороди, не в силах двинуться с места. Через какое-то время к ней подошли советские военные – капитан и два солдата. И спросили, почему она плачет... Она рассказала, что умирающая дочь просит куриного бульона... Офицер попросил показать двор, где она была, зашел туда и из пистолета застрелил курицу. Немец бурно протестовал, но капитан отдал женщине курицу, сказав, чтобы она, если что еще будет нужно, обращалась к нему...

Когда принесла бульон дочери, та не смогла поверить в это и все повторяла, что мама – волшебница... А сама выпила всего пару ложек. И под утро умерла.

Похоронили Анну на окраине немецкого кладбища, и Пелагея Егоровна с благодарностью вспоминала потом, как немецкий священник уступил ее мольбе – совершил на похоронах погребальный обряд.

Анатолий не раз потом писал в Германию и Австрию – в Центры по розыску родных. Отовсюду неизменно приходили ответы, что сведений о месте захоронения его сестры не сохранилось...

Брат Анатолия Николай вернулся на родину с пороком сердца, прожил всего сорок лет; и десять последних, после операции на сердце, практически не выходил из больницы. Да и сам Анатолий в пятьдесят с небольшим стал инвалидом не без помощи лет, проведенных в оккупации и в концлагере...

Возвращение

После возвращения из Германии вплоть до февраля сорок шестого семья Еркиных проходила, так называемую, «филтрацию». Потом им удалось поселиться недалеко от родной Залегощи в землянке, вырытой на склоне оврага, звавшегося Басов Ров.

Зимой овраг полностью заносило снегом и, чтобы выйти из землянки, приходилось рыть вертикальный шурф – колодезь. Весной и летом землянка непременно заливалась водой. Электричества и водопровода там, конечно же, не было. Так прожили целых шесть лет...

«Теперь, – говорит Анатолий, – хорошо известно, что сотни тысяч наших соотечественников, побывавших в немецком плену и концлагерях и мечтавших о возвращении домой, не прошли филтрацию СМЕРШа. Их отправили обживать просторы Коми, Якутии, Казахстана и иных подобных мест. Тем, кому удалось выжить в советских лагерях, разрешили возвратиться в родные места через много-много лет».

Еркины скрывались от властей за «прегрешения перед Родиной» в Басовом Рву. Жили бедно и трудно. Летом собирали и сушили грибы, ягоды, желуди. Земли под посадку картофеля, капусты и овощей у них не было – огород вскапывали на дне оврага. После сильного дождя овраг превращался в бушующую реку, и все посадки уничтожались.

Чтобы как-то продержаться, завели коз и кроликов. Отец устроился конюхом в какое-то учреждение. Денег, что ему платили, было, конечно, недостаточно для семьи. Немалая часть уходила на налоги, на всевозможные займы «восстановления и развития народного хозяйства». Лето у детворы было в прямом смысле босоногим – обуви не было. Зимой Анатолий ходил в школу в бахилах – так мама называла са-модельную обувь, сшитую из лоскутов ткани, переложенных ватой. Весной дети ходили по колхозным полям, собирая оставшийся с осени перемерзший картофель – из него получали крахмал. И пекли блины.

В Басовом Рву с Анатолием тоже произошел случай, из-за которого он едва не погиб. Отец приехал домой на лошади, запряженной в телегу. Выпряг лошадь и отпустил пастись, а Толя забрался в оставленную на бровке рва телегу. Телега покатилась под уклон, перевернулась несколько раз и упала на дно оврага. Анатолия нашли под телегой – без сознания, но живого.

...В пятьдесят втором году семья перебралась в райцентр: отец устроился там по специальности – ветеринаром. Построили дом, посадили сад, завели хозяйство. Трудно жилось и в то время. Мальчишки с вечера выстраивались в очередь у хлебного ларька и, чтобы не проспать свою, до утра играли в казаки-разбойники.

...После окончания школы Анатолий несколько лет трудился на стройке, на заводе, был матросом на рыболовецком сейнере в Баренцевом море. Затем поступил на геологический факультет Казанского университета. После окончания работал на Печоре, Волге, Ангаре, Енисее, Байкале...

Последние десятилетия перед выходом на пенсию был главным геологом прииска Ольчан в Оймяконском районе Якутии – на полюсе холода, где зимой морозы достигают шестидесяти-семидесяти градусов по Цельсию...

Лет пятнадцать назад на деньги, полученные из Германии, он купил для себя и своей семьи квартиру в пригороде Пензы – в малогабаритной пятиэтажке на первом этаже...

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Осип Цадкин – Ариадна Чемесова

«Заколдованный цветок папоротника...»

В сентябре уже далекого от нас шестьдесят пятого года в бельгийском городке Кнокке, у самого берега моря, в здании казино, собрались поэты из многих стран мира.

Тогда и состоялось официальное открытие памятника «Поэт», работы всемирно известного скульптора и художника Осипа Цадкина.

Вот как вспоминал журналист Виктор Поповский те сентябрьские дни:

«Я видел “Разрушенный город” Осипа Цадкина в центре Роттердама: смотришь и не можешь оторваться. На одной выставке его скульптура “Заклученные” притягивала так, что мы снова и снова к ней возвращались.

Слышал, что он из России. Но давно. Еще до революции, – всю жизнь прожил за границей. Верно, и язык забыл. Было бы неудивительно, – столько лет прошло. Ведь есть такие, что за границу попали после этой войны и уже забыли язык.

Во время открытия памятника «Поэт», один из ораторов сказал, обращаясь к скульптору: «Вы не русский, не француз, не финн, вы принадлежите всему миру».

Щелкают аппараты, зудят кинокамеры,жимают Цадкину руку. Как подойти? Не протолкнешься, да и толкаться неудобно. Какие-то дамы обращаются к нему с разными вопросами,

просьбами. Обступает молодежь, чтобы получить автографы. Слышу – отвечает по-французски. Обидно, что не удалось подойти. Узнать хотя бы: говорит по-русски или нет?

И вот счастливый случай: иду после обеда по городу и вижу – навстречу мне Осип Цадкин. И только с двумя спутниками. Невысокого роста человек, густые серебристые волосы, худощавое лицо. На вид лет шестьдесят.

Я подошел.

– Простите, вы говорите по-русски?

– По-русски? А как же! Вы хотите со мной поговорить? Минутку, вот фотографии попросили меня, я с ними через пять минут распрощаюсь и к вашим услугам.

Фотографы засняли его у памятника. Пользуясь моментом, щелкнул аппаратом и я. Он не позировал, а как будто прощался со своим творением, – ведь оно уже не принадлежит ему, а всем. Между прочим, в руке «Поэта» книга, на книге одно лишь слово – Свобода.

Обращаюсь к нему:

– Простите, как нас по отчеству?

– Алексеевич. Вы обождите, я сейчас приду, через пять минут. Живым или мертвым, но приду!

И уходит, смеясь. Вскоре возвращается – живым... И смеющимся. Начал накрапывать дождик, зашли в кафе.

– Осип Алексеевич, вы давно из России?

– Давно, уехал в девятьсот девятом году.

– А откуда вы родом?

– Из Смоленска.

Цадкин рассказывает, что работать начал семнадцати лет. Сейчас в Цюрихе готовится выставка его работ. Будет выставлено около ста пятидесяти скульптур.

Спрашиваю, не символизирует ли его «Поэт» в какой-то степени благородного Дон-Кихота?

– Нет, не символизирует, – отвечает Осип Алексеевич. Зритель нередко воспринимает произведение искусства иначе, чем его творец.

Смысл искусства в свободном самовыражении художника. Без этой свободы искусство невысказано. В частности, поэто-

му он отказался от мысли о возвращении в Россию. Там он не мог бы свободно творить.

Спрашиваю, знаком ли он с творчеством Эрнеста Неизвестного?

– Только поверхностно, только по фотографиям его произведений.

– Осип Алексеевич, а вы чувствуете себя еще русским?

– Боже мой, а кем же я должен себя чувствовать?! – восклицает Цадкин. – Это французы считают меня своим. А я, если я сержусь, то только и могу отвести душу на русском языке!

Рассказываю о России.

Художник говорит, что в России, до революции, им, еще мальчишкам, никто не мешал в творческих поисках.

– Не люблю, чтобы меня держали за руку. Художник должен быть самим собой. В творчестве должна быть свобода.

Несмотря на свои семьдесят пять лет, работает регулярно, с утра, ежедневно. Приглашает к себе в гости, дает свой парижский адрес: «Будете в Париже, обязательно заходите!»

Мне кажется, что этот человек скромн, не любит лести, а славы вокруг себя просто не замечает. Это характеризует его не только как художника, но и как человека.

На прощание желаю ему долгих творческих лет и добавляю: «До свидания, Осип Алексеевич, в Париже!»

А теперь о самом главном, чему и посвящена эта публикация в журнале.

Там, в бельгийском Кнокке, рядом с журналистом, который брал интервью у Осипа Цадкина, находилась русская женщина с древним и редким именем – Ариадна.

Возвратившись с этой встречи поэтов мира домой, в Германию, во Франкфурт-на-Майне, она отправляет ему в Париж письмо и обещанный журнал «Посев», сотрудницей которого являлась.

Художник откликнулся, судя по датам, незамедлительно... Завязалась переписка.

Письма, к счастью, сохранились в архиве журнала «Грани». И нам видится в них нечто большее, чем документы ушедшей эпохи – а письма эти ими, несомненно, являются – ведь речь идет о скульпторе с мировым именем.

И даже большее, чем переписка двух людей – мужчины и женщины, так неожиданно обретших друг друга и обреченных – по воле Высших сил – на ахматовскую «невстречу».

«...Тайна сия велика есть».

100 bis, rue d'Assas

Paris

6. 10. 65

Многоуважаемая мадам Чемесова!

Первое, что меня поразило в Вашем письме, – это Ваше имя: Ариадна. А знаете, одна из моих небольших скульптур называется «Ариадна».

Благодарю бесконечно, что Вы вспомнили про меня. Высылаю Вам последнюю монографию о моей скульптуре и заранее благодарю за «Посев».

Послезавтра уезжаю из Парижа в Голландию, вернусь в Париж на два дня только – порядком устал и хочется остаться одному и жить несколько дней в одиночестве.

Вернусь в Париж, наверное, к концу октября.

Приезжайте тогда. Буду очень рад Вас увидеть.

С глубоким уважением,

О. Цадкин

P. S. В Университетской библиотеке Франкфурта стоит моя большая бронзовая скульптура «Прометей». Посмотрите.

OZ.

623, Frankfurt a.M.

Sossenheim, Flunscheideweg, 15

30.10.1965

Уважаемый Осип Алексеевич!

Сегодня мое пребывание в Париже подходит к концу. Завтра я возвращаюсь в Германию. Я звонила Вам, но узнала, что

Вас нет и что Вы вернетесь в Париж уже после моего отъезда. Мне хотелось лично Вас поблагодарить за чудесный подарок – монографию, – который Вы мне прислали. Так как мне это не удалось сделать, примите мою искреннюю благодарность с некоторым опозданием. Я очень сожалею, что мне так не повезло и я не смогла Вас повидать.

К этому письму я прилагаю вырезку из советской правительственной газеты «Известия»*, где, хотя и коротко, упоминают Вас. Так как это, кажется, в первый раз, я думаю, Вам будет интересно об этом узнать.

Я надеюсь, что Вы получили «Посевы». Простите, что они в таком потрепанном состоянии, но, так как это старые номера – шестьдесят третьего года, – мне было трудно достать их. Если Вас интересует журнал «Грани» или еженедельник «Посев», то сообщите мне и я охотно буду Вам их высылать.

Примите мой искренний привет и наилучшие пожелания.
С глубоким уважением,

А. Чемесова

4. 11. 65

Уважаемый Осип Алексеевич!

Вы, вероятно, уже получили мое письмо, которое я Вам послала из Парижа в день моего отъезда домой. Сейчас пишу Вам снова. Простите, что надоедаю Вам, по... Во-первых, посылаю Вам фотографии, которые сделал в Кнокке мой товарищ Виктор Поповский, а во-вторых, хочу сообщить Вам, что,

*<...>Как же забыть, что двадцать пять лет тому назад гитлеровцы полностью разрушили огромный город?

Центр Роттердама почти полностью отстроен... Неподалеку от гавани высится знаменитый монумент «Разрушенный город». Кулисами ему служат еще сохранившиеся руины. Я не являюсь сторонником модернизма в искусстве, но монумент, действительно, потрясает. Автором его является Осип Цадкин, который в 1909 году поехал из Смоленска в Париж учиться ваянию, да так там и остался. – Е. Пральников. «Ворота Западной Европы». *Известия*. 17 октября 1965 г. – *Ред.*

по всей видимости, я должна буду по делам приехать снова в Париж. Время поездки я могла бы выбрать так, чтобы застать Вас в Париже, если Вы согласитесь мне сообщить возможные даты нашей встречи. Я была бы Вам благодарна, если бы Вы согласились мне, при этой встрече, дать интервью для нашего журнала «Грани».

Моя поездка в Париж намечается на вторую половину ноября или первую половину декабря с.г. Какие даты подошли бы Вам?

В присланной мне Вами монографии есть ссылки на Ваши «Мемуары». Были ли они где-либо напечатаны или изданы? Мне очень хотелось бы их прочесть. Возможно ли было бы получить у Вас право на русское издание их – полностью или отрывков из них? Если они на французском языке, то мы взяли бы на себя их перевод на русский язык.

Буду ждать с нетерпением Вашего ответа. Если Вам легче писать по-французски, то можете мне писать и по-французски. Хотя я и не владею французским языком в совершенстве, однако, читаю и понимаю все.

Примите мой искренний привет и наилучшие пожелания.
С глубоким уважением,

Ариадна Евгеньевна Чемесова.

*100 bis, rue d'Assas
Paris, 6^e
6. 11. 65*

Уважаемая Ариадна Евгеньевна,

Только что вернулся из St. Gallen, где я работаю над литографиями, которые выйдут через месяц альбомом.

Как жалко, что не встретились! Так хочется с Вами посидеть и поговорить обо всем и о каждом!

Когда собираетесь вернуться в Париж? Обязательно нужно, необходимо познакомиться нам и поговорить по душам, как будто мы старые друзья. А на самом деле, мы, мне кажется, уже совсем добрые друзья!

Трудно уложиться в листке и заговорить по-настоящему. Надо бы нам встретиться по-хорошему! Не правда?

Спасибо за вырезку – я, видимо, совсем неизвестен в России и коверкают фамилию напрополую. Я не получил «Посевы». Меня очень интересует все, что печатается по-русски, и буду очень рад, если вышлете что-нибудь. Читаю теперь в сотый раз «Бесы» и не перестаю удивляться гениальности Достоевского.

Целую руку.

OZ.

Париж, 10.11.65

Уважаемая Ариадна Евгеньевна!

Получил Ваше письмо и благодарю от всего сердца за фотографии Вашего друга Поповского. Передайте ему мою дружескую благодарность.

Профессор Жиану воспользовался моими воспоминаниями, которые еще никогда и нигде не напечатаны.

Первая часть этих мемуаров напечатана на машинке. Вторую и последнюю часть я теперь в свободные минуты пишу и вспоминаю.

Я, понятно, одолжу Вам все, что у меня написано. Я думаю, что могу дать Вам право на русское издание полностью или отрывков. Все написано по-французски.

Все эти выставки и открытия меня очень изнуряют и поэтому думаю уехать на две недели в деревню, где у меня имеется дом, поля и лесок.

Вернусь и буду дома уже десятого декабря. С радостью Вас увижу. Поговорим по душам.

С искренним приветом

Ваш О. Цадкин.

26.11.65

Уважаемый Осип Алексеевич!

Большое Вам спасибо за Ваши теплые письма от шестого и десятого ноября.

Одновременно посылаю Вам бандеролью журнал «Грани» № 58 и «Посев» № 46, в котором имеется короткая заметка моего товарища Виктора Поповского о нашей короткой встрече-знакомстве с Вами в Кнокке. Она ничего особенного собой не представляет, но, я думаю, Вам будет приятно ее прочесть. В «Гранях», я думаю, Вы с удовольствием прочтете переписку Бориса Пастернака с Ренатой Швейцер.

Я мечтаю о встрече с Вами, а потому устраиваю свои дела так, чтобы попасть в Париж числа десятого-двенадцатого декабря. Если у Вас не будет возражений, то я позвоню Вам утром, чтобы сговориться о возможной встрече. Простите мне мою навязчивость, но Вы так сердечно меня приглашаете, что устоять перед такой возможностью трудно.

Полностью разделяю Ваше восхищение Достоевским. Он – такая высота, которую, по-моему, ни один писатель еще не взял. Причем он совмещает в себе одновременно и художника, и мыслителя, и пророка. Из его произведений, помимо «Бесов», меня всегда глубоко волнуют «Братья Карамазовы» и, в частности, два данных в них антипода (философских) – «Великого Инквизитора» (разве не этой философией руководились обе страшнейшие диктатуры нашего времени – сталинская и гитлеровская?) и старца Зосимы (чрезвычайно близкая, мне лично, философия).

В России Вас, действительно, очень мало знают, за исключением узкого круга современных молодых художников или молодых поклонников современной живописи и скульптуры. В этой среде (очень замкнутой и, по своему духу, – антиправительственной) Вас знают, стремятся узнать ближе и к Вам интерес все время растет. Так как наш журнал «Грани» проникает за «железный занавес» разными путями и ходит по рукам, то мы и стремимся помещать в нем материалы, интересующие нашу российскую интеллигенцию. Отсюда и мое стремление получить от Вас интервью и «Мемуары» для «Граней», чтобы этим путем познакомить поближе Россию (подлинную, а не коммунистическую) с Вами лично и с Вашим творчеством. Помимо «Граней», у нас есть для этого

и другие пути. Если Вам эта тема интересна, я смогу Вам подробнее рассказать при встрече. Вы правы, что в письме трудно обо всем рассказать.

От души желаю Вам хорошего отдыха в Вашем деревенском доме. Город имеет свои преимущества, но душа и мысль, мне кажется, чувствуют себя вольно только на природе.

Примите мой искренний привет и, надеюсь, до скорой встречи.

Уважающая Вас,

Ариадна Чемесова

*100 bis, rue d'Assas
Paris, 6^e
4. 12. 65*

Многоуважаемая Ариадна Евгеньевна,

Только что вернулся из деревни.

Буду ждать Ваш телефонный звонок утром от девяти до двенадцати десятого или одиннадцатого-двенадцатого.

Буду очень рад Вас повидать. Ведь мы совсем не знаем друг друга!

С приветом

О. Цадкин

*100 bis, rue d'Assas
Paris, 6^e
11. 12. 65*

Многоуважаемая Ариадна Евгеньевна,

Пишу Вам письмо, за которое Вы меня будете ругать: ничего я Вам не могу сказать ни на вопросы о скульптуре, ни одолжить часть рукописи. И вот почему.

Я как-то рассказал моему издателю мемуаров, что собираюсь позволить часть их для перевода в Вашем журнале. Он рассвирепел и окончательно запретил ни одной страницы никому не одалживать и притом, говоря о «Гранях», сказал, что Ваш журнал «engagé», то есть откровенно против совет-

ской республики, и это, в теперешнее время значит откровенно выставить себя как антикрасным. И если поступлю таким образом, то и моим двум сестрам станет очень трудно и все это приведет к тому, что их выселят в Сибирь.

Поймите, будучи французом, за последние пятьдесят лет, я об этом совсем не думал.

И вот почему деловому свиданию конец, и я, поверьте, страшно сожалею.

Поверьте, я очень этим потрясен и думаю, что деловой стороне нашего свидания конец. Вся эта дребедень не помещает нам видеться, если Вам это желательно, и я буду очень рад Вас увидеть и провести вечер где-нибудь.

Вот видите, что с людьми эта политика сделала!

Целую руку.

О. Цадкин

100 bis, rue d'Assas

Paris, 6^e

27.12.65

Дорогая Ариадна Евгеньевна,

Очень рад был Вашему письму, обрадовали.

Буду ждать Ваше письмо с нетерпением.

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым.

Всех благ и здоровья.

О. Цадкин

9.2.1966.

Дорогой Осип Алексеевич!

Простите, что только сейчас «собралась с мыслями», чтобы ответить Вам на Ваше письмо от 11.12.65, а также поблагодарить Вас за поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым. Не подумайте, что я такой тугодум или характером похожа на Обломова. Просто мне не повезло: я умудрилась заболеть, и болезнь разрушила все мои добрые намере-

ния. Сейчас я еще тоже не вполне оправилась, но голова уже начала работать, и я приступила к искуплению вины перед моими корреспондентами, и в первую очередь, перед Вами.

Простите также, что пишу Вам на машинке, хотя не вполне уверена, что за это следует извиняться. Раньше, правда, считалось писать письма на машинке невежливостью, но в наше время, как мне кажется, машинка стала такой же неотъемлемой принадлежностью каждого интеллектуала, как и автомашина (которой у меня кстати нет и вряд ли будет, потому что я не люблю этот вид транспорта!). В данном же случае я пишу на машинке в силу необходимости: у меня болит рука и писать от руки мне трудно. Печатать же можно и одной рукой, хотя и медленно.

Ваше письмо от 11.12.65 меня действительно очень расстроило. Я его получила в день отъезда в Париж и долго колебалась (уже в Париже), звонить мне Вам или нет. Предпочла не позвонить. И вот почему.

Вы пишете, что мы не сможем с Вами говорить ни о скульптуре, ни об искусстве, ни о Ваших мемуарах. А между тем это как раз те темы, которые меня больше всего интересуют и о которых мне с Вами, как с человеком искусства и хотелось бы поговорить. Если бы Вы меня знали лучше, то, вероятно, Вам было бы достаточно моего слова о том, что наш разговор в печать не попадет, и мы могли все же на эти темы поговорить. Однако, ведь Вы меня совсем не знаете, не знаете – сдержу я свое слово или нет, а следовательно будете сдержаны. Мы могли бы говорить и на любые другие темы, но положение таково, что любые Ваши мысли, на любую тему именно потому, что они Ваши, а не Ивана Ивановича Иванова, для меня, как журналистки могут стать материалом для статьи. И Вы не могли бы быть со мной откровенны. Какой же мог бы получиться в таких условиях у нас разговор? Эти мысли и удержали меня от звонка к Вам и от встречи.

Я понимаю Вас. Понимаю, что не интересуясь в течение пятидесяти лет ни жизнью эмиграции, ни, по-видимому,

жизнью России под коммунистической властью, будучи вне всякой политики, Вам очень трудно понять сегодняшнее положение нашей страны и взаимоотношений, которые сложились между россиянами в самой стране и за рубежом.

А за это время очень многое изменилось, как в эмиграции, так и в России. И там и там выросли два новых поколения, и там и там сменились политические авторитеты, и там и там зародились и развиваются новые идеи, новые движения, новые мировоззрения. Сама советская коммунистическая власть одряхлела и держится еще только силой инерции. О переменах в нашей стране и о процессах, идущих там, я могла бы Вам очень многое рассказать, так как, если можно так выразиться, непрерывно держу руку на пульсе жизни России, прислушиваясь к биению ее сердца, вглядываясь ей в душу. Это – не красивые слова, это моя сегодняшняя реальность, в значительной степени смысл моей жизни.

Чтобы Вы имели представление обо мне, перескажу Вам вкратце главные моменты моей личной биографии. Я – ровесница Октябрьской революции. Мы с ней родились почти в один день. Мои родители: отец – офицер, мать – из дворянской семьи. В результате революции они оказались за границей и вывели меня также.

Выросла я в Югославии. Там окончила русскую женскую гимназию и начала учиться на медицинском факультете. Будучи студенткой, познакомилась с организацией, носившей тогда название НТСНП (в эмиграции нас звали попросту «нацмальчиками»). Эта организация состояла только из молодежи, которая хотела быть полезной России и служить ей. Нам был неприемлем ни монархизм старшего поколения, ни коммунизм. Мы искали и нашли свои пути к России и в России.

Когда началась война, большинство наших членов стало пробираться на территорию России, чтобы проповедовать там наши идеи и нести тяготы войны вместе с нашим народом. Я тоже уехала из дома, сперва в Германию, затем оттуда, уже нелегально, пробралась в Польшу, а из Польши в Россию – в Минск, Смоленск и Орел. Пробираться приходилось всюду

нелегально, так как немцы видели в нас врагов и не хотели нас видеть на оккупированной ими территории. Это имело свои основания, так как, хотя мы и были антикоммунистами, но намерение Гитлера сделать из России свою колонию делало нас также и антифашистами.

Наш путь был трудный, путь – третьей силы: «ни немцы, ни большевики, а свободная Россия». Однако среди нашего народа мы находили широкий отклик и наши идеи – Народно-Трудовой России без немцев и коммунистов – отвечали настроениям нашего народа, и наша организация все время росла и росла. Работать приходилось в подполье. В результате своей работы я была в Орле арестована гестапо. Просидела в тюрьме полгода.

Однако в Смоленске, когда меня везли из Орла этапом в Германию, мне удалось освободиться. Правда, ненадолго. Через полгода я снова попала в лапы гестапо, уже в Минске, и просидела там до момента, когда Красная армия подошла к городу и немцы стали его покидать. Каким-то чудом я уцелела в это время, потому что немцы почти всех сидевших в это время в тюрьме расстреляли (при отступлении). Я до сих пор не знаю, кому я должна быть благодарна за жизнь. По-видимому, какому-то неизвестному другу в самом гестапо, который внес мое имя в список двадцати человек из пятисот, выпущенных на свободу в те дни. А может быть, это была и чистая случайность. Судьба.

Я хотела остаться, не возвращаться в эмиграцию, а остаться в России и дальше бороться там. Но так сложились обстоятельства, что пришлось отступать, и вот я снова оказалась за границей. К моему большому сожалению. Однако всей душой, мыслями и делами я не здесь, а в России, и сейчас. Смысл моей жизни – борьба за свободу России вместе с моим народом. Эта борьба на моей родине идет очень широким фронтом сейчас: от борьбы легальными методами до борьбы в революционном подполье. Наша задача в эмиграции – помогать всеми силами этой борьбе, выполняя те задачи, которые лежат на людях, живущих в мире демократических свобод.

Основная борьба идет внутри страны. Мы только обслуживающая эту борьбу техническая и идейная база. Для выполнения стоящей перед нами задачи мы создали за границей типографию («Посев»), радиостанцию («Свободная Россия») и другие необходимые службы. Я не могу Вам писать обо всем этом во всех подробностях, так как тогда письмо получится слишком большим. Оно и так грозит стать не письмом, а целой статьей. Но, если Вас эти вопросы интересуют, то мы сможем как-нибудь встретиться и поговорить и на эту тему.

Теперь несколько слов о журнале «Грани». «Грани» журнал литературный, и его задача именно и прежде всего литературная. «Грани» ставят себе целью быть свободным и независимым литературным журналом, страницы которого предоставляются всем, стоящим на позициях свободы искусства, вне зависимости от места жительства его сотрудников. Поэтому на его страницах печатаются как эмигрантские литераторы, так и российские писатели и поэты, которые, в силу ограничения свободы на нашей родине, не могут быть там напечатаны.

Однако «Грани» также современный журнал, стремящийся отражать мысли, искания наших дней, знакомить своих читателей в эмиграции и на родине с современными передовыми идеями. В «Гранях» печатались, помимо русских, и такие иностранные писатели и философы, как Жорж Бернанос, Ясперс и др. Печатался и Лосский. Печатались и Бунин, и Сургучев, и Анненков. Печатается Борис Зайцев. Как Вы, вероятно, знаете, это все люди не политического склада, а люди искусства. И они не боятся «ангажироваться», печатаясь в «Гранях».

Но, конечно, было бы неверно говорить, что «Грани» не играют, даже будучи только литературным журналом, никакой политической роли. Они несомненно эту роль играют, когда выступают в защиту преследуемых в СССР за свободу слова писателей или художников. Выступления и пресс-конференции журнала в защиту посаженных в сумасшедший

дом в Ленинграде и Москве писателей Нарицы и Тарсиса и привлечение внимания к этим фактам иностранного общественного мнения вынудили советскую власть выпустить посаженных писателей.

Иностранное общественное мнение в настоящее время, когда новое правительство СССР стремится доказать Западу, что оно «демократическое» и «либеральное», может очень много сделать в защиту преследуемых за свободу искусства или религиозные убеждения в СССР. Под давлением этого общественного мнения советское правительство идет на уступки и ослабляет террор.

Ваши опасения, что если Вы «ангажируетесь» и выразите себя открыто противником коммунизма, то подведете своих сестер и загоните их в Сибирь, не имеют абсолютно никаких оснований. Это было возможно во времена Сталина. В настоящее время Вы могли бы не только не бояться за своих сестер, но и добиться того, чтобы кто-то из них приехал к Вам в гости, не говоря уже о том, что Вы сами могли бы совершенно свободно туда, к ним, поехать в качестве родственника или туриста.

Ваше имя позволяет Вам вести себя совершенно свободно и открыто высказывать любые убеждения. Советское правительство настолько считается с мнением Запада, что никогда не рискнуло бы что-то предпринять ни против Вас, ни против Ваших сестер. Мой товарищ, с которым Вы познакомились в Кнокке, – Виктор Поповский, является членом антикоммунистической организации, открыто пишет антикоммунистические статьи, выступает всюду как противник советского режима и известен советским властям как их враг. Однако его мать, живущая в Киеве, свободно с ним переписывается, он ей регулярно посылает продовольственные посылки, и никто ее не трогает. А ведь он простой смертный, не имеющий никакого имени и никакого подданства.

Вам же, французскому подданному, человеку исключительно искусства, имеющему имя мировой известности, опасаться за себя или за своих сестер нет никаких оснований.

Советская власть в сегодняшнем своем состоянии не может позволить себе роскошь портить взаимоотношения с той же Францией из-за Вас. К тому же она еще и заинтересована в том, чтобы «пустить пыль в глаза» и показать себя овечкой, оставаясь волком. Она сильна и жестока только там, где встречает страх перед собой и слабость. Перед силой она пасует, будь то физическая или духовная сила правды. Ваш издатель, испугавшийся того, что Вы себя ангажируете, связавшись с журналом «Грани», видимо, имеет очень устаревшие представления о положении в России и считает, что там ничего не изменилось с тридцатых годов.

И еще мне хочется затронуть одну тему. Вы боитесь себя выставить открытым противником советского режима. Только ли потому, что опасаетесь за своих сестер? Спрашиваю об этом, потому что не раз встречала мнение, что в борьбе идеологий – свободы и диктатуры – надо сохранять нейтралитет. Я лично считаю, что такая позиция с точки зрения моральной – неверна. Неверна потому, что в наши дни позиция нейтралитета – это фикция. Тот, кто объявляет себя нейтральным, автоматически переходит в стан защитников диктатуры, ибо только ей выгоден разного рода нейтралитет. Нейтралитет в наши дни подобен Пилату: умывая руки, он тем самым предает Истину на смерть.

Дорогой Осип Алексеевич! Мое письмо получилось большим и немного сумбурным. Вероятно потому, что мне слишком много хотелось Вам зараз сказать, а еще Кузьма Прутков говорил, что «нельзя объять необъятное». Для Вас все эти темы, как мне кажется, совершенно новы, ибо Вы живете совсем в ином мире, в прекрасном мире – искусства. Я бы не пыталась Вас вывести из него, раскрывая окно в иной мир, если бы у меня душа не болела за таких же людей искусства, живущих в СССР и преследуемых властью за поиски нового, за свободное самовыражение в искусстве. Этим людям нужно и можно помочь, облегчив их моральное, материальное и творческое положение. И помогать им должны в первую очередь, как мне кажется, их коллеги по кисти и резцу. Как,

какими путями можно было бы это сделать, я также думала с Вами поговорить при встрече. Но интересно ли это Вам? Я буду Вам благодарна, если Вы мне ответите со всей прямолинейностью и откровенностью.

На этом я, пожалуй, и закончу свое письмо. Простите, что утомила Вас таким большим посланием. Не сердитесь, если написала что не так. Надеюсь, что Вы меня поймете.

С глубоким и неизменным к Вам уважением,

Ариадна Чемесова.

без даты

Дорогая Ариадна Евгеньевна!

Спасибо за незабываемое письмо, которым Вы меня одарили.

От нашей краткой встречи я только помню Ваше присутствие, ибо не смел Вас разглядеть. В то короткое время, проведенное с Вами и Вашим другом, я только успел Вас обоих познакомить вкратце со мной и моей жизнью.

Письмо Ваше теперь уже познакомило с Вами, хотя лица Вашего не припомню.

Удивительно, до чего жизнь Вас закалила, и благодаря письму Вашему передо мной встает портрет теперешней русской женщины во всем его трагизме и глубине. Спасибо, дорогая Ариадна Евгеньевна, за Ваш автопортрет, к которому я мысленно вернусь потом с увлечением.

Нам надо как-нибудь встретиться и поговорить и еще ближе разглядеть духовно, ведь таких женщин как Вы не встретишь на каждом жизненном углу.

Я лично совсем очудел, живя на Западе. Тридцать лет растет совсем другое деревце человеческое. Эти «*matière humaine*» убоги и недолго скребешь, чтобы добраться до духовного скелета. Посредственность и суровая ежедневная жизнь вырубili внутренний мир женщины и мужчины.

Понятно, есть замечательные исключения. Ваше письмо рисует совсем другого человека... Поверьте, я на легкие сбл-

жения не падок. О моей личной жизни мы как-нибудь поговорим, когда встретимся.

У меня будет выставка семидесяти скульптур в апреле месяце в Кёльне. Я Вас предупрежу и напишу. Буду очень и очень счастлив и разглядеть Вас, а то до сих пор только слышал Вас, читая письма.

Через четыре-пять дней уезжаю в St. Gallen, городишко в Швейцарии, где у меня открывается небольшая выставка литографий...

Сообщаю адрес. Черкните, если есть время.

Буду опять рад Вас «видеть» на бумаге.

С глубоким уважением,

О. Цадкин

19. 2. 1966

Дорогой Осип Алексеевич!

Очень Вы меня обрадовали Вашим письмом. По правде говоря, я очень опасалась, что на моем предыдущем письме наше знакомство окончится. Поймите, ведь я Вас, как человека, совсем не знаю. Знаю Вас как художника (в широком смысле этого слова), да и то, к сожалению, довольно поверхностно, и только. То впечатление, которое у меня осталось от нашей пока единственной встречи, могло ведь быть и ошибочным. Тем более, что я, к сожалению, не обладаю даром безошибочно интуитивно угадывать людей. Ошибаться мне приходилось нередко. К счастью, эти ошибки никак не отразились на моей вере в Человека и в лучшее в нем. Идеальных людей не бывает – это для меня аксиома, поэтому я не страдаю идеализацией людей (или отдельного человека), а принимаю их такими, каковы они есть – с их плохим и хорошим: ценя за хорошее и борясь, если это в моих возможностях, с плохим. Дорог мне каждый человек подобием Божиим, вложенным в него, и если это «подобие Божие» доминирует в человеке, то его недостатки становятся для меня второстепенными и неважными.

Но, простите, я отвлеклась. Кто-то как-то сказал, что высшее удовольствие человека – это говорить о самом себе. В этом, несомненно, есть большая доля правды, и все мы этим грешим. Но, с другой стороны, как же иначе выразить себя? Только словом и делом. И, вероятно, очень важно, чтобы слово не расходилось с делом.

Вы пишете, что таких женщин, как я, не встретишь на каждом углу. Дорогой Осип Алексеевич! Я думаю, что Вам в таком случае очень не повезло. Или мне очень повезло? Возможно и последнее, ибо меня почти все время окружали интересные и богатые духовно люди. В их среде я духовно формировалась и я могла бы перечислить много имен, как мужских, так и женских, которые в моей жизни, в моем духовном воспитании сыграли немалую роль.

Кроме того, мне очень повезло еще тем, что я рано нашла свой смысл жизни, свой индивидуальный путь в этой жизни, которая и обретает свою ценность только тогда, когда человек осмысляет свое место в ней. И в настоящее время меня окружают замечательные по-своему люди. Типичная для них, для каждого из них, черта – их индивидуальная неповторимость. Многие из них не обладают, казалось бы, никакими особыми талантами, не блещут выдающимся умом или потрясающими знаниями (хотя есть и такие), и в то же время почти каждый – это очень своеобразный и неповторимый мир.

Вот, например, Наталия Борисовна Тарасова – главный редактор журнала «Грани». Она родилась и выросла в Киеве. Была убежденная комсомолка. Война выбросила ее за границу. Знакомство с иным миром, раскрывшее ложь коммунистической пропаганды, заставило ее пересмотреть наново все свои молодые убеждения и кирпич за кирпичом строить фундаменг своего мировоззрения.

Она блестящий и исключительно талантливый литературовед и литературный критик. Она удивительно интересный собеседник, всегда находящий свой оригинальный подход к тем или иным вопросам. Она прекрасный докладчик, и ее

доклады о русской литературе советского периода пользуются огромным успехом у эмиграции. Она, в частности, часто бывает с такими докладами в Париже. В то же время она мать и жена: у нее две девочки и муж.

Или вот Александра Ивановна Макова. Она родилась и росла в русской деревне под Курском. В начале тридцатых годов родители были раскулачены и сосланы в Сибирь. Она – тогда пятилетняя – со старшей сестрой восьми лет остались одни в деревне. Голодали. Нищенствовали. Согревались и кормились у добрых людей. Так – несколько лет, пока родители не вернулись из ссылки. Получить полное образование ей не удалось: во-первых, дочь раскулаченных, во-вторых, пришла война. Пятнадцати лет немцы ее вывезли на работу в Германию. Попала она на сельские работы, в немецкую деревню, не зная ни слова по-немецки, одна (других русских вблизи не было).

Случайно попала ей в руки русская газета, выходившая тогда в Берлине. Написала туда письмо. Это письмо попало тогда в руки моим друзьям. Сложными хлопотами удалось ее вытащить из деревни в русскую среду. Перед концом войны я с ней познакомилась и ее взяла под свою опеку (как старшая). Меня поразила эта девочка своей непримиримостью к коммунизму, своей удивительной моральностью и душевной чистотой. К тому же, в ней сидела такая жажда знаний, такая любовь к книге, какой я раньше ни у кого не встречала.

Первые послевоенные годы мы были все время вместе. Вместе кочевали по Германии, вместе «осели» в одном из лагерей «перемещенных лиц». Вскоре она встретила хорошего парнишку и вышла за него замуж. Это был – Саша Маков, родом из Одессы, тоже человек трудной жизни, беспризорного детства (сын священника). Через год у них родилась дочка (моя крестница – Наташа, ныне живет в Париже, готовится уже сдавать второе башо). Брак их был счастливым, но оба они пошли по пути служения Родине.

В пятьдесят третьем году Саша Маков, с согласия и благословения жены, пошел нелегально через границу СССР,

чтобы бороться в самой стране за наши идеи. Однако произошло несчастье. Он был захвачен органами государственной безопасности (КГБ) и расстрелян. Об этом мы узнали из советских газет, в которых была помещена большая статья об «американских шпионах». В настоящее время в советской печати, хотя и продолжают нас обвинять в сотрудничестве с иностранными разведками, но уже нередко и называют нас по имени – НТС, ибо НТС внутри страны за эти годы стал известен в народе. ...Когда расстреляли Сашу Макова, власть умалчивала о нас и все антиправительственные действия приписывала американцам, даже в том случае, если захватывали революционера, никогда не выезжавшего из СССР. Вот таким героическим и трагическим путем пошел муж Александры Ивановны.

Она осталась рано вдовой с двумя маленькими детьми. Очень было ей трудно, но она силой воли, силой духа понесла свой крест, так же, как несли в свое время крест жены декабристов, продолжая его путь. Она растила детей, помогала чем могла организации бороться дальше, и непрерывно училась, читала, опять училась.

Недавно она вышла вторично замуж за вдовца, у которого осталось четверо детей – все мальчишки. Она не побоялась взять на себя тяготы такой большой семьи, переехала в Париж, где жил ее теперешний муж, и живут они дружно и хорошо.

Однако, даже имея такую большую семью, из которых четверо уже почти взрослые, она продолжает вместе с мужем отдавать все свое свободное время нашему делу. А моя крестница Наташа – ей сейчас девятнадцать лет – активно работает в НТС, привлекая к нашему делу молодежь, как в эмиграции, так и из СССР (встречаясь с приезжими из СССР и ведя с ними беседы).

Я привела Вам, дорогой Осип Алексеевич, только два примера современных русских женщин, чтобы Вы видели, что я не представляю собой ничего особенного. Это только часть примеров, которые я могла бы Вам привести. И учтите при

этом, что ни Наталья Борисовна, ни Саша Макова (ныне Жедилягина) не считают себя чем-то особенным. Просто они любят свою Родину и выполняют свой долг перед ней, как его видят и понимают.

О, конечно, есть много обывателей, которые на нас смотрят либо как на сумасшедших, либо ищут какие-то скверные побуждения, какие-то выгоды, которые нами-де двигают. А мы просто живем со смыслом, стараясь соблюдать иерархию ценностей не на словах только, но и на деле. И даже, если нам суждено сделать очень-очень мало, но тот факт, что мы были – и за рубежом, и в самой России, исторически оправдывает мнимую покорность нашего народа перед диктатурой. Никто не осмелится утверждать, что наш народ был покорен диктатуре, не сопротивлялся ей. И в том, что сейчас наша российская молодежь выходит на улицы Москвы с плакатами – «Свобода творчеству!» (демонстрации студентов четырнадцатого апреля и пятого декабря 1965 года), есть и наша заслуга.

Больше не буду Вас «донимать» этими темами, а то Вам станет скучно со мной переписываться. Вы подумаете и, пожалуй, с некоторым основанием, что имеете дело с ограниченным и узких интересов человеком. Но, что делать, ведь каждая эпоха предъявляет своему поколению определенные требования, ставит свои задачи. Только люди особо одаренные имеют право отказаться выполнять эти требования, ибо их задачи диктуются данным им Богом талантом. Они отвечают за то, чтобы он не оказался зарытым в землю, а служил Красоте и Добру.

Ваша задача – служить Человечеству через Искусство, моя и мне подобных – служить Свободе и обеспечить ее для Вас и Вам подобных. Наша Родина, в силу сложившихся исторических обстоятельств, стала источником Несвободы, но и она же должна родить в себе силы Освобождения и возрождения подлинной Свободы – в правде, справедливости и братстве.

А теперь перейду к теме нашей встречи. Я, конечно, постараюсь приехать в Кёльн, если Вы меня предупредите, ког-

да Вы там будете и где я смогу Вас найти. Но, может быть, Вы сможете себе освободить один-два дня, чтобы доехать до Франкфурта-на-Майне и побывать у меня в гостях? Я была бы очень рада встретить и принять Вас у себя. Могла бы также познакомить Вас с моими некоторыми друзьями, показать Вам здание издательства «Посев» и так далее.

Познакомила бы Вас также с одним из моих друзей – художником Адамом Русаком, который в настоящее время распишивает иконостас для новой, строящейся еще, русской церкви. Он большой Ваш поклонник. Подумайте об этом, хорошо?

Что же касается моего приезда в Кёльн, то мне важно, по возможности, знать заранее о дне нашей встречи, так как я довольно часто, как и Вы, бываю в отъезде и мне не хотелось бы из-за этого пропустить наше вторичное очное знакомство.

Вы не написали, как долго Вы останетесь в Швейцарии, но все же я рискую послать это письмо туда в надежде, что оно благополучно Вас там достигнет. Как прошла Ваша выставка?

Шлю вам свой искренний и дружеский привет.

Уважающая Вас глубоко

Ариадна Чемесова.

*Les Arghes par
Cazals (aot)
France
без даты.*

Дорогая Ариадна Евгеньевна,

Простите, ради Бога, мое молчание. Я получил Ваше замечательное письмо, которое читал и перечитывал несколько раз, все будучи больше завален разным жизненным хламом.

Как я Вами удивляюсь! Ваша жизнь так вышита удивительным узором, который не только опирается на убеждения, но требует от человека все, абсолютно всю жизнь. И я, читая Ваше последнее письмо, подумал: не празднo ли Вас беспокоить моей жизнью, которая больше похожа на жизнь термита,

ну, скажем, художественно занимательна, но все же убогая в сравнении с Вашей. Пример: был в St. Gallen (там-то и получил Ваше письмо), открыл небольшую выставку рисунков, произнес речь. Пил и болтал, и все...

В моей жизни что интересно, это момент создания. А все остальное – лишь одна дельная мразь.

Приехал в Париж: начал готовить выставку в Кёльне. Прошлой неделей выслал семьдесят две скульптуры, пятьдесят рисунков и готовлюсь выехать в Кёльн к концу этого месяца. Там, знаю, будет прием, речь доктора Герца и так далее. Разве все эти переездки интересны? Нет.

Вот потому я сейчас в деревне, где у меня небольшое имение. Отдыхаю, ибо здесь нет этих нудных встреч, разговоров бесконечных, которые запрудили, заслонили человека, которого не видно. Ото всего этого я убегаю, и если удастся остаться здесь десять-пятнадцать дней, я несколько оживу, порисую, почитаю и, надеюсь, оживу. Будучи в Кёльне я Вам напишу и, может, удастся повидать Вас, посмотреть на человека удивительного, у которого есть идеал и трудная подпольная работа.

Вот, дорогая, письмо совсем забитого человека. Всего хорошего, да хранит Вас Бог.

Ваш ОЗ.

P.S. Простите за хмурое письмо.

*Париж
15. 4. 66*

Дорогая Ариадна Евгеньевна!

Спасибо за открыточку – обрадовали, ибо думал, что забыли или решили больше не писать.

Да! Я после хорошего обеда в кругу особых личностей города и перспективы валандаться по городу одному, вдруг решил вернуться в Париж. Все это было решено сразу, ибо, не получив никаких вестей от Вас, я взял и уехал.

Сегодня старый знакомый, бельгиец, мне по телефону звонил. Очень может быть, что придется вернуться в Кёльн,

по делу. Тогда я Вам напишу, ибо уже слишком долго приходится ждать, чтобы Вас увидеть!

Что-то мне говорит, что за этим деловым человеком, одержимым, есть что-то уж больно хорошее, русское. Не поверите, – я часто о Вас думаю, а лица-то не знаю!

Но хватит. Вы, наверное, очень заняты. А он болтает!
Всего хорошего.

OZ.

9. 5. 66

Дорогая Ариадна Евгеньевна!

Пишу Вам перед моим отъездом в Köln, куда прибуду в двенадцатом часу.

Пишите словечко, если захочется в галерею Lemperz Kunsthaus Neumarkt 3 Köln. Я еще не знаю, в каком отеле буду жить. Не думайте, что забыл Вас, – все время думаю про Вас, как о замечательном существе, преданном родине, которую нельзя отрывать от задач почти праздными письмами. Черкните, если есть время, словечко, что здоровы и все в порядке.

Всего хорошего.

OZ.

*Les Arnes par
Cazals, France
3. 6. 66*

Дорогая Ариадна Евгеньевна!

Вот я в деревне, французской. Здесь у меня дома и поля, которые скатываются с горы, потом лес стеной, самый дорогой мне, куда я возвращаюсь только чтобы посидеть в нем на длинном камне под его старым дубом, который Бог кажется сам посадил, чтобы я один или с друзьями иногда посидел, поговорил о разных вещах человеческих. Весна этого года очень богата дождями, и зелень растет, где Бог положил, и я этому рад.

Жена моя, француженка, всю жизнь болела и теперь ее здоровье ухудшилось. Болеет она почками, обе почки, и доктор отказывается оперировать ее. И вот человек медленно,

но верно заливается медикаментами и, наверное, ее зашибут, в конце концов.

Значит, видели мои работы, и это первое знакомство с человеком, которого видели всего полчаса?

Эти выставки не имели большого успеха. В единственном письме, которое получил, сказали, что ничего не продано, а обещали целый ворох. Эта выставка закрывается пятнадцатого этого месяца и потом откроется в Мюнхене.

Придется поехать туда, ибо всегда присутствую на открытии.

Я Вам напишу и постараюсь побыть во Франкфурте и позвоню Вам.

Вот, дорогая Ариадна Евгеньевна, конец моему письму.

Жму Вашу руку и целую, и до скорого.

OZ.

3. 6. 1966

Дорогой Осип Алексеевич!

Ваше письмо я получила уже давно, но не отвечала, так как все время ждала, что Вы вот-вот дадите мне знать о своем приезде во Франкфурт. Пыталась узнать, когда начинается Ваша выставка в Мюнхене, но мне это не удалось – нигде нет такого сообщения, хотя я достала план всех культурных мероприятий на июнь месяц в Мюнхене.

Может, что-нибудь изменилось в Ваших планах? Вот я и решила Вам написать, чтобы выяснить этот вопрос. Больше всего меня беспокоит, чтобы Вы оказались бы во Франкфурте как раз в тот день, когда я окажусь в отъезде. Ведь я очень часто бываю в разъездах, правда, иногда всего на один-два дня. Я всегда предупреждаю, когда вернусь, своих друзей и просила их, если Вы позвоните, сразу же мне дать знать, где бы я ни находилась. Но пока такого звонка не было, письма тоже. Может быть, оно в пути?

Шлю Вам это письмо снова на Париж, так как не уверена, что Вы еще в деревне, хотя, конечно, в деревне сейчас должно быть очень хорошо. Весной и летом меня невероятно тянет всегда на природу. Я больше всего люблю лес, речку (или

озеро). Люблю бродить одна в лесу и думать. На душе всегда и светло, и чуть грустно почему-то, и невольно приходят мысли о вечности, о Боге, об утерянном человеком рае. Спадает с души всякая наносная мелочь, и сердце раскрывается – Красоте, Добру, высшей Правде. К сожалению, бывать на природе удается очень редко. В июле я иду в отпуск и надеюсь провести его в маленьком местечке, на природе. Уже наметила себе такое местечко в Баварии и теперь молю Бога, чтобы была в июле хорошая погода, побольше солнца и тепла, по которым я очень соскучилась за последнее время. А как Вы думаете провести свой отпуск и когда?

Ваша выставка в Кёльне (и, кажется, в Дюссельдорфе тоже?), я думаю, не имела большого успеха (как Вы пишете) потому, что очень плохо была поставлена информация о ней. Нигде, похожему, ни в газетах, ни в плакатах в городе, о ней не сообщалось. Узнать о такой выставке мог только человек, который специально интересуется этим и ищет такие выставки. В Германии же реклама (как это пошло ни звучит) играет колоссальную роль. Боюсь, что в Мюнхене тот же недостаток. Ведь вот я же знала, что выставка, пыгалась узнать, где и когда она, но никто ничего не знает, и я осталась в полной неизвестности. Вы нажмите на своих устроителей выставки, чтобы они хотя бы плакаты о ней развесили по городу. А то просто обидно. Ведь это же настоящее искусство, большое искусство – и люди должны с ним знакомиться! Если бы у меня были деньги, я бы не задумываясь выложила их для приобретения хотя бы одной из Ваших скульптур, но, увы, «бодливой корове Бог рог не дает»!

Дорогой друг! Жду от Вас вестей и не теряю надежду на встречу.

С глубоким уважением к Вам,

Ариадна Чемесова

6. 6. 66

Дорогая Ариадна Евгеньевна!

Сидел в саду (у меня небольшой сад) и читал Ваше доброе письмо и перечитывал его. От него веет добротой и улыбкой

и потому спасибо Вам. Что-то мало улыбок на лицах людей и особенно в Германии, ибо только вчера вечером вернулся из Мюнхена.

Вы правы, первая моя выставка в Кёльне не удалась. Устроена была человеком больших дел и самоувеличенности.

Он впервые начал интересоваться современным искусством, которое надо самому любить и серьезно заниматься.

В Мюнхене, откуда я только вернулся, яставляю в настоящей галерее, где устроитель занимается исключительно современным искусством. Публика валит к нему, и потому вернулся довольным, хотя порядком устал: кутил и пил как на свадьбе.

Дорогая Ариадна Евгеньевна, я скучаю по Вас, и очень хочется Вас увидеть и познакомиться, ведь мы уже старые знакомые, и Ваше последнее письмо совсем ободрило меня. Я как бы тоскую по Вас, и очень хочется Вас увидеть глазами человеческими.

Может, вы можете, сумеете приехать, ну хоть на минуту. Вы мне позволите (ради Бога, не сердитесь) все Ваши расходы взять на себя.

Приезжайте, пришлите одно слово, и я буду так счастлив.

Знаете, трудно сказать многое человеку, которого не видел еще.

Ваш О. Zadkine

26. 6. 1966

Дорогой Осип Алексеевич!

Не могу Вам передать, как я была тронута Вашим предложением взять на себя все расходы, связанные с моим приездом, чтобы повидать вас.

Однако на это я никак не могу согласиться. И не потому, что я такая «цирлих-манирлих» или гордость мне этого не позволяет (если предложение делается от чистого сердца, то я не считаю, что гордость уместна!), а просто потому, что повидать Вас это радость *для меня* (а будет ли она *для Вас* – еще

совсем неизвестно), а, следовательно, для этой цели я не останавливалась бы перед расходами. Тем более, что они сводятся фактически к проезду, так как в Париже у меня много друзей, у которых я всегда могу остановиться.

До сих пор ведь препятствие к нашей встрече было не в этом, а в том, что Вы, как заколдованный цветок папоротника, не давались мне в руки. Простите за такое смешное сравнение, но оно мне почему-то пришло в голову. Иными словами, я всегда готова была с Вами встретиться, но эта встреча не получалась по разным причинам (вспомните всю историю наших взаимоотношений!). И сейчас опять что-то вроде этого получается, но на этот раз по моей вине.

Ваше предложение оплатить мне расходы я приняла как Ваше желание и согласие на встречу со мной. И, если бы у меня сейчас была возможность, я не задумываясь села бы в поезд и приехала. Но у меня так складываются обстоятельства, что в ближайшие месяц-два это неосуществимо.

В начале июля я беру отпуск, которым хочу убить двух зайцев: отдохнуть и заодно подлечиться. Врач мне советует (а больничная касса частично берет расходы на себя) поехать на курорт принимать ванны, которые окончательно (надеюсь) вылечат мою руку. Она у меня болела почти год (это было зажатие нерва между позвонками с последующим воспалением нерва). Сейчас уже, можно сказать, не болит, только по утрам дает о себе знать. Но я очень боюсь повторения и поэтому решила последовать совету врача и вместо Италии поехать в Бад-Айблинг, что под Мюнхеном.

Перед отпуском мне хочется сделать максимум дел, чтобы уехать с чистой совестью и без всяких «хвостов» в работе. Поэтому я сейчас с утра и до поздней ночи работаю, время от времени впадая в отчаяние, оттого что работе, тем не менее, не видно конца и края.

В Бад-Айблинге я, наверное, пробуду весь июль. Итак, нашу встречу придется отложить, как минимум до августа. Если в августе или позже Вы не перестанете по мне скучать, то мы сможем сговориться, наконец, о нашем личном знакомстве.

Правда, меня теперь немного оно пугает: ужасно боюсь, что Вы будете разочарованы моим очень прозаическим внешним видом. Но тут ничего не поделаешь, использовать как следует в наш прогрессивный век всю косметику для оформления женской красоты я так и не научилась. Поэтому представу перед Вами в том облике, в котором меня создал Бог, без всяких «иллюзий».

Я очень рада за Вас, что в Мюнхене Вас так хорошо встретили. Если Ваша выставка будет еще открыта, когда я буду в тех краях, то я обязательно еще раз схожу полюбоваться Вашими работами. Я себе представляю, что у каждого творца есть свои любимые и менее любимые вещи. Какие из Ваших произведений Вы сами больше всего любите? Или все, как дети у матери, дороги Вам по-своему? Спрашиваю, потому что и по Вашим работам хочется мне Вас лучше понять.

Да, недавно было передано по ББС на английском языке интервью с Вами. К сожалению, я не владею английским языком и потому мало что поняла. А Вы, видимо, хорошо знаете английский язык. И немецкий тоже?

Дорогой Осип Алексеевич! На этом сегодня с Вами прощаюсь. Своего адреса в Бад-Айблинге я еще не знаю, но Вы можете мне писать на Франкфурт. Все письма мне будут пересылать.

Крепко жму Вашу руку и шлю Вам свой искренний и дружеский привет.

Ариадна Чемесова

Ces Aryue

Par Lot

1 июля 66

Дорогая Ариадна Евгеньевна!

Пишу и отвечаю на Ваше письмо, присланное из Парижа. Я сейчас в деревне, где отдыхаю или, надеюсь, отдохну. Здесь благодать и покой. Живу с собакой, и жена приедет позже. Останусь в раю до пятнадцатого, потом придется вернуться в Париж: получу обратно мои скульптуры из Мюнхена. К сожа-

лению, придется ехать на юг Франции в St. Rémy de Provence, где мой бюст Van Goga будет поставлен публично...

Скачу, как мышь по клавиакорду. Один шум от всей этой скачки, но ничего не поделаешь, так уж положено – буду скакать, пока не упаду и комком буду лежать, пока не уберут. Такова судьба.

А Вы, дорогая, подлечитесь. Надо, ибо без здоровья одни калеки.

Таким я сейчас чувствую себя, и только одна собака понимает меня. Ну, давай помечтаем об осени, зиме. Я думаю, что буду спокойнее. Но неправда: предлагают выставку в Ницце: в Palais de la Méditerranée. Может, тогда отдохну – там море, провинция. Может, там и встретимся.

Но бросим все эти планы и давайте, как чайки на волне, отдадимся непрестанному движению жизни – в ней есть своя и *наши* музыка и вне их хаос страшный, чужой.

Перед приездом начал лепить Пушкина! Увлекаюсь, ибо очень трудно воссоздать человека, которого некоторые только «хоронили». Но есть еще собственные рисунки, которые говорят о совсем другом человеке, которого Кипренские et C° не знали или игнорировали.

Крепко жму руку и целую.

OZ.

23. 7. 66

Дорогая Ариадна,

Спасибо за теплое письмецо, которое только что получил из деревни.

Я сейчас в Париже. Надо было получить все мои работы из Мюнхена. Слава Богу, получил свои работы и я опять в своем гнезде. Хожу по мастерским, смотрю и себя часто ругаю, а иногда почти хвалю. А Пушкина совсем забросил, но вернусь. Хочется показать его Лифарю, но, думаю, он в отъезде.

Выставка в Мюнхене прошла с большим успехом. Вся пресса писала и хвалила. Даже продал кое-что. Но это совсем не

важно. Я опять уезжаю в деревню, где пробуду до десятого августа, ибо уезжаю в St. Rémy de Provence, где мой бюст Van Gogh'a будет впервые открыт. (Что-то сегодня утром все русские слова выдохлись из памяти, и совсем одурел.)

Приезжайте! Городок очаровательный! Юг и жара, и вот открытие памятника. Праздник.

Вот, милая Ариадна, все, что могу сказать. Но верьте, я часто, часто думаю и воображаю Вас и все стараюсь угадать Вас.

Мой адрес в деревне Les Argues Cazals (Lot) от двадцать девятого июля.

Целую ручку.

Ваш ОЗ.

6.8.1966

Дорогой мой друг, Осип Алексеевич!

Как Вы видите (по машинке), я уже дома. Вернулась с отпуска-лечения и сразу окунулась в многочисленные дела, которые меня уже ждали здесь.

Ваше письмо мне переслали в Бад-Айблинг, где я была, но я не успела вам ответить оттуда, так как последнюю неделю стремилась как можно больше посмотреть из окрестностей. В частности, была на Химзее, где находится один из многих замков короля Людовика II Баварского, знаменитого тем, что он все народные средства тратил на искусство. Это он предоставил композитору Вагнеру жить у него и творить, создал в парке замка Линдергоф специальный грот для постановки оперы «Лоэнгрин», скупал и перевозил в свои замки редчайшие произведения искусства и так далее.

Его замки – это воплощение сказки, хотя они и перегружены роскошью так, что, осматривая их, начинаешь задыхаться от переполнения красками, формами, блеском. Замок на Химзее (Химзее – озеро, на котором несколько островов; на самом большом из них – построен замок) – полная копия Версаля. Так он был и задуман: и здание, и комнаты – все

скопировано с Версаля; почти в каждой комнате картины из жизни Людовика XIV и полководца Кондэ – любимого полководца Людовика II. Потому, что это копия Версаля, а не оригинальное произведение или отражение души Людовика II (как другие три замка, которые я тоже видела три года тому назад), мне этот замок понравился меньше других.

Каждую субботу в зеркальном зале этого замка зажигают несколько тысяч свечей на люстрах и канделябрах и при этом освещении бывает концерт. Играют обычно Моцарта или Гайдна.

Я попала туда в субботу и была на одном из этих концертов. Впечатление – очень сильное: огромный, изумительной красоты зал, тысячи свечей все равно не справляются с его освещением, а потому полумрак и звуки старинной, немного однообразной, скрипичной музыки. И хотя в зале присутствует несколько сот человек, стоит абсолютная, предельная тишина.

Судьба короля Людовика II Баварского была трагичной. Его придворные и родня возмущались тем, что он все государственные средства тратил только на искусство и интересовался только им. В результате его объявили сумасшедшим, сняли с престола и поселили под присмотром в каком-то имении на Штарнберском озере.

Однажды вечером, вместе со своим врачом гуляя у озера, он утонул. Обстоятельства его гибели остались неясными. Есть предположения, что его утопили (так как сам он был блестящим пловцом), а также возможно, что он покончил самоубийством. Второй вариант также вполне реален и даже как-то отвечает облику этого короля: он обладал сверхъестественным чувством прекрасного, и все, что не было прекрасно, – его корбило, заставляло страдать. Попав на положение сумасшедшего, в чуждую его духу обстановку, он должен был в ней неимоверно страдать и, вероятно, не выдержал ее. Бороться против интриг он не умел.

В Бад-Айблинге, где я провела почти четыре недели, было мне очень хорошо: тихий маленький городок, расположенный в прекрасной местности с очень приветливым

и симпатичным населением. Угнетала только погода: почти все время было хмуро и дождливо, а я люблю жару и солнце. Потому я, конечно, завидую Вам, что Вы поедете в «теплые края». С удовольствием бы туда приехала, но совесть не позволяет. Я и так провела в отпуску больше положенного мне времени (отпуск у меня – три недели, а я отсутствовала ровно месяц). Зато чувствую я себя сейчас прекрасно и полна энергии.

Ваш Ван Гог – изумителен. Перед его скульптурой (в полный рост) я стояла довольно долго, не могла оторваться. Почему будет открытие только его бюста, а не той скульптуры, где он во весь рост? Или эта скульптура стоит уже в другом месте?

Когда вернетесь из своей поездки в Париж – напишите о своих дальнейших планах. Может быть, нам все же удастся осенью встретиться.

Не забывайте Пушкина! Не исключено, что этой скульптурой могли бы заинтересоваться и в СССР. Вы не думали о том, что было бы хорошо организовать Вашу выставку в Москве или Ленинграде? При теперешних дружеских взаимоотношениях между Францией и СССР, мне кажется, это может быть вполне реально, если действовать через Министерство культуры Франции.

Шлю Вам свой дружеский привет. Храни Вас Бог.

Ваша Ариадна Чемесова

*Les Arghes par
Cazals, Lot
10. 8. 66*

Дорогая Ариадна Евгеньевна,

Получил Ваше письмо, от которого веет здоровьем и молодым интересом к жизни и вещам человеческим.

Ваше описание дворцов и озер, которые мне и не снились, просто заставляют меня думать, что я трачу последние минуты жизни на то, что никому, или, вернее, только некоторым

интересно... Вот я, например, сижу в деревне – благодать и спокойствие. Жил бы остаток дней моих – да нет, работаю как вол по привычке, рисую и леплю каждый день и никак не свернуться со старого пути и махнуть куда-нибудь в невиданную страну. А то вот как слепой возвращаюсь к старому стулу.

Вот теперь уеду в St. Rémy de Provence, южный городок, где поставили и, ах как паршиво бюст Van Gogh'a. Еду, чтобы ругаться, улыбаться им что ли? Потом опять вернусь сюда, где одно меня всегда успокаивает: деревья, кусты; людей мало и не с кем поделиться мыслями. Это успокаивает и через неделю я забуду обиду этого мелкого купца, который посмел взяться за дело, которое ему не по плечу. Ну хватит.

Думаю, чувствую, что этой осенью, зимой я Вас увижу и познакомимся совсем. Ведь мы уже старые друзья, которые друг друга знают по письмам, по которым мы мысленно узнаем, когда одному не очень уж легко. Письмо, если его отделить от всего временного, удивительный документ. И вот мы старые друзья, которые почти друг друга в лицо не знают, разбираются как бы по старинному документу, писанному на камне. Ну вот и разбираемся, улыбаясь и глазами лаская друг друга.

Ваш, каюсь, надеюсь.

O. Zadkine.

23. 9. 1966

Дорогой друг, Осип Алексеевич!

Не писала Вам так долго по целому ряду причин: во-первых, Вы были в отъезде; во-вторых, у меня была куча забот, как личных, так и рабочих (хотя у меня личное с рабочим очень тесно переплетается и отделить одно от другого чрезвычайно трудно). Вот так и прошли день за днем, а ваше письмо оставалось без ответа. Сегодня, наконец, решила исправиться и написать Вам.

Как Вам ездилось в Сэн-Реми? Как прошло открытие памятника? Удалось ли добиться лучшего места для него? Удалось ли Вам, помимо обязательств, еще и просто отдохнуть на юге?

На днях кончила писать большую статью – рецензию на повесть советского писателя Можая «Из жизни Федора Кузькина». Это очень талантливая повесть и очень интересная по своему содержанию. Герой – крестьянин, который, чтобы прокормить свою большую семью, ушел из колхоза. Повесть очень наглядно отражает те сдвиги, которые происходят сейчас в России, даже в колхозной деревне. Народ на всех ступенях социальной лестницы просто выходит из повиновения коммунистической партии и строит свою жизнь, не считаясь с ней и вопреки ей. Это находит свое отражение и в советской современной литературе и в тех материалах, которые мы получаем непосредственно из России. Все эти процессы требуют и от нас больших усилий, большого напряжения сил.

В России не всегда ясно представляют себе положение здесь, особенно в эмиграции. Там считают, что раз мы живем на свободе и на Западе, антикоммунистически настроенном, то это значит, что все нам помогают и что наши возможности неограниченны. И чего только не хотят от нас получить: и всевозможные книги (главным образом, философского содержания), и микротипографии (ручные), и материальную помощь (одежду, продукты, просто деньги), и советы, как вести борьбу, и так далее. И просто моральной поддержки. А мы сами сплошь и рядом «голы и босы» и не встречаем не только моральной поддержки в эмиграции, а еще незаслуженно нас ругают. Конечно, не все. Есть у нас и друзья и помощники тоже, но, увы, их слишком мало.

Простите, дорогой друг, что занимаю Ваше внимание темой, вряд ли Вас интересующей, но, как говорится, «что у кого болит, тот про то и говорит».

Я очень люблю путешествовать, люблю новые места. К сожалению, я, как и Вы, хотя и в другой области, неизбежно возвращаюсь к своему «орудию производства» – к машинке

и бумаге. Поездить удастся только либо во время отпуска, либо по делам. Но, когда едешь по делам, как правило, очень мало времени остается на себя, на осмотр того, что хочется. Чаще бывает даже так, что вовсе на это времени не остается. Обидно, но, видимо, в жизни каждого человека проложена его индивидуальная дорога, которой он должен идти, чтобы выполнить свою земную задачу. А в том, что у каждого человека такая задача есть, я твердо убеждена.

Я до сих пор не знаю, когда я выберусь в Париж. Меня зовут туда как раз личные дела. Не помню, писала я Вам или нет (кажется, писала), что там у меня живут мои крестницы. Вернее, одна крестница, а вторая – ее сестренка. Одной – двадцать, другой восемнадцать лет. Так вот, у них возникли некоторые жизненные трудности, и они меня очень просят приехать им помочь – морально и советом.

Я обязательно должна буду поехать. Это может случиться неожиданно, так как из экономии я хочу воспользоваться поездкой какого-нибудь знакомого на машине. Такие возможности бывают, но они возникают неожиданно. Тогда надо быстро собраться, в течение дня, и трогаться в путь.

Я, конечно, как только приеду в Париж, позвоню Вам. Но, как быть, если Вы в это время будете в деревне? Она далеко от Парижа? Если недалеко, то я готова приехать к Вам в деревню (конечно, если у Вас не будет возражений). Если Вам нетрудно, напишите мне о своих планах на начало октября, чтобы я знала, где мне Вас искать и есть ли вообще шанс Вас найти.

Простите, что это письмо получилось немного сумбурное. Писала, как мысли текли, как писала бы настоящему другу, которого мне хочется в Вас видеть.

Как идут дела с Пушкиным? Повидали Лифаря? Я всегда восхищалась им как танцором и хореографом и только недавно узнала, что он большой знаток и специалист по Пушкину. Это его в моих глазах вдвойне подняло.

Храни Вас Бог.

Ваша поклонница и друг

Ариадна Чемесова

*Воскресенье, 6 часов вечера.
Октябрь. 66*

Дорогая Ариадна Евгеньевна,

Простите, что не писал вам – был очень занят и закручен. Теперь чуточку легче.

Выходит новая книга фотографий моего друга – канадца (его недавно убила автомашина). Когда думаете Вы побывать в Париже? Хотелось бы Вас повидать. Ведь мы уже совсем старые друзья и есть что-то чего недостает. И я именно то-скую по этому «что-то».

Страшно заинтересован новой работой: нечто вроде скульптуры для архитектуры, покажу, когда приедете.

Не сердитесь, что не пишу: я довольно разбросанный человек, но в душе неплох.

Простите за это самохваление.

Целую ручку

OZ.

19. 10. 1966

Дорогой мой друг, Осип Алексеевич!

Большое Вам спасибо за письмецо. Я, конечно, никак не обижаюсь, если долго не получаю от Вас писем, хотя и очень их ценю. Ценю именно Ваше внимание и то, что несмотря на занятость, Вы все же находите время черкнуть мне хотя бы пару строк, за которыми я Вас вижу воочью.

Моя поездка в Париж опять откладывается. Насколько – не знаю. Возможно, что до декабря, а может быть, и до будущего года (подумать только – уже год подходит к концу!). Дело в том, что, по-видимому, в декабре одна из моих крестниц будет выходить замуж и тогда я должна буду обязательно присутствовать. А уж если попаду в Париж, то, конечно, буду стремиться повидать и Вас. Лишь бы Вы только в это время оказались там! Вы ведь тоже непоседливый человек. Если же свадьба будет отложена, то... и мой приезд в Париж отложится на неопределенное время. Тут уж ничего не поделаешь.

Я теперь начинаю немного даже бояться нашей встречи: вдруг Вы меня увидите и я настолько не буду отвечать Вашему представлению обо мне, что Вы разочаруетесь и наша дружба, зародившаяся путем переписки, не укрепитя, а поломается. Это мне было бы слишком обидно, но ничего не поделаешь тогда.

Ну, будем надеяться на лучшее. Я по характеру оптимистка и, пока беды не случилось, предпочитаю верить в благополучный исход нашего личного знакомства.

Сегодня мое письмо будет коротким. Я, собственно, хотела только Вам сообщить, что еще не скоро приеду, к моему большому огорчению. Но, как только что-то прояснится или мне станет известной дата моей поездки в Париж, я Вам сразу же сообщу.

Шлю Вам мой искренний сердечный привет.

Ваш друг и поклонница Ариадна Чемесова

Les Arguel

Lot

5. 11. 66

Дорогая Ариадна Евгеньевна,

Сейчас уехал в деревню, где пробуду не больше двух недель. Себя чувствую неважно. Годы приближаются и некуда прятаться от них. Здесь, на большом покое, хорошо, и чувствую себя лучше.

Но это ненадолго. Как вернусь – нужно послать пятьдесят работ в Ниццу, где открою выставку в ноябре. Потом три выставки в Чехословакии, начиная с Праги – расписание моей деятельности до весны.

...У меня здесь рощи со старыми дубами и соснами. Осень довольно ненастная, но это мне нравится и вяжется с моим настроением.

Одна сторона – выставки, народ и статьи, но самому остается быть и стать термитом, каким-то существом, далеким от улыбок и естественного смеха. Какое-то монашество. Моя жизнь суживается и не вижу выхода.

Вот видите, дорогой друг, письмо, хотя пишу его в деревне, очень скудное, и сам автор совершенно «неприемлем» для Вас и для самого себя.

Я, собственно, приехал в деревню, чтобы побыть с деревьями, с самым старым дубом. Я только что от него. Ответа ласкового не получил и вернулся домой удрученный самим собой и всем миром.

Кланяюсь Вам и прошу извинения, что мешаю моим письмом Вам работать.

Целую руку,

OZ.

22. 11. 66

Дорогая Ариадна Евгеньевна,

Буду рад увидеть Вас наконец! Не знаю, когда приедете, но позвоните мне и мы условимся, чтобы встретиться и поужинать где-нибудь.

Буду страшно рад повидать Вас.

До скорейшего свидания.

Ваш OZ.

30. 11. 66

Дорогой Осип Алексеевич!

Не могу передать своего огорчения тем, что наша встреча опять не состоялась. На этот раз это полностью моя вина и вина обстоятельств.

Я приехала в пятницу двадцать пятого утром в Париж. А вечером – у меня должен был быть доклад, который я очень плохо подготовила, так как была все время сильно простужена (насморк и сильный кашель) и голова моя отказывалась совсем работать. Поэтому, приехав, я сразу села работать над своим докладом. Дело еще в том, что я плохой оратор и, когда мне приходится выступать, то я должна заранее составлять почти полностью весь текст своего выступления, чтобы по-

лучилось хорошо. И вот, я весь день до вечера проработала над докладом. Решила Вам в этот день не звонить, так как все равно не могла бы с вами встретиться и потому, что еще не знала своего расписания на следующие дни.

На следующий день – выходила замуж моя крестница Вера. Я с утра поехала в мэрию, где была регистрация брака, а затем на обед к родителям жениха (вернее, уже мужа моей крестницы). Это все происходило в Бург-ла-Рен и заняло почти весь день. И опять я Вам не позвонила, так как не имело смысла. Ночевала я в Клиши-су-Буа у матери моей крестницы – Александры Ивановны Маковой-Жедедягиной, о которой я Вам как-то писала.

В воскресенье выбралась в Париж только после обеда и должна была сразу ехать в Шуази-ле-Руа к одним знакомым для делового разговора. Там же и ночевала.

И вот, в понедельник двадцать восьмого, вернувшись в обед в Париж, я сразу после обеда Вам позвонила, но к телефону никто не подошел. Я была огорчена, но решила, что Вас, наверное, нет в Париже, что Вы в Ницце (Ваше письмо я получила, когда уже вернулась во Франкфурт), и потому больше не звонила. А ночным поездом выехала назад во Франкфурт. Мне очень хотелось задержаться еще на один день, так как я не успела все что хотела сделать в Париже, но никак не могла из-за дел, которые меня уже ждали во Франкфурте.

И вот, вернувшись во Франкфурт, я получила Ваше письмо, из которого увидела, что Вы были в Париже. Мне стало так обидно, что я чуть не заплакала. Но уже ничего поправить было нельзя. Простите ли Вы мне, что я проявила так мало настойчивости и ограничилась одним звонком? Хотя наказана этим больше всего я сама. Я думаю, что это произошло, главным образом, потому, что я внутренне не верила, что наша встреча может состояться: столько раз уже она не получалась. Но в следующий раз, я уже твердо решила, я поеду в Париж специально для встречи с Вами, заранее сговорившись с Вами о дате и времени встречи. Это, конечно, уже будет только в будущем году. А пока будем продолжать

переписываться, если Вы меня простите и не измените своего дружеского ко мне отношения.

Как Вы себя чувствуете? Как Ваше настроение?

С искренним и сердечным приветом, всегда ваш друг,

Ариадна Чемесова

Париж, 5. 12. 66

Милая Ариадна,

Читаю и перечитываю Ваше письмо и «вижу», что вы огорчены, что свидание наше опять не удалось.

Мы, дорогая, птицы разного полета, и оттого трудно заставить обоих повернуться крепко один к другому. Пусть судьба сама устроит эту встречу, и мы увидимся с улыбкой на наших изможденных лицах.

Вот, скажем, я: только вернулся из St. Gallen, Швейцария, и теперь накануне отъезда в Ниццу, где открываю большую выставку – шестьдесят скульптур. Мы так «взяты» собой, что все, что совершается помимо, должно удовлетвориться остатком минут нашей жизни.

Повременим! Может, мы, очень занятые пчелы, вдруг спохватимся, что время идет и не вернется, и мы оба сразу упадем друг другу в объятия.

Дай Бог, чтоб поскорее!

Вот, дорогая, милая Ариадна, я Вам посылаю фото моего лица, а то, может, упадете в объятия другого, мне незнакомого альбатроса!

Ну, вот, прощайте, чайка моя дорогая и редкая.

Я о вас буду думать в тоске на пути к солнцу.

Ваш ОЗ.

Светлана Завадовская

«Пески пустынь укроют след...»

Исполнилось сто лет со дня рождения известного ученого и дипломата Юрия Николаевича Завадовского.*

Вся его жизнь неразрывно связана с историей двух стран – Франции и России.

Выходец из старинного рода Завадовских, близких к окружению русского Императора, он, будучи ребенком, еще дома получил прекрасное образование. После революции и гибели отца, вступившего в ряды Белой гвардии, семья на последнем английском пароходе бежала в Константинополь, чтобы затем перебраться во Францию. Позднее Юрий Николаевич, как очевидец тех событий, выступил консультантом в известном фильме, снятом по роману Михаила Булгакова «Бег».

В Париже, по совету друга их семьи, замечательного русского художника Ивана Билибина, влюбленного в Восток, он выбирает для себя путь востоковеда и в двадцать восьмом году поступает в Национальную школу живых восточных языков ENALCO. Закончив ее, уже в качестве дипломата отправляется на Ближний Восток, затем в Багдад, Сирию, Тунис, изучает арабскую культуру и диалекты, публикует научные статьи.

В тридцать девятом году его принимают в члены Азиатского общества ученых Франции.

* 1909–1979 г. – Ред.

Во время Второй мировой войны, ненавидя фашизм и не желая работать в правительстве Виши, подает в отставку, помогает участникам Сопротивления, работает переводчиком в американских войсках. Одновременно с тем он не прекращает свою грандиозную работу над арабским словарем.

После войны Завадовский вновь возвращается в Министерство Иностранных дел и сразу отправляется в многомесячную экспедицию по Сахаре.

Получив назначение в Каир, продолжает изучение арабских диалектов, дешифровку петроглифов и наскальных рисунков.

Окончательно покинув в конце сороковых годов дипломатическую службу, семья Завадовских переезжает в Прагу – поближе к России! С этого времени он полностью посвящает себя науке, читает лекции в Карловом университете, преподаёт арабский язык, защищает диссертацию по Северной Африке.

После долгого ожидания, получив разрешение вернуться в Россию, Юрий Николаевич сначала переезжает в Ташкент, где несмотря на тяжелые бытовые условия он активно занимается переводами рукописей Авиценны, защищает кандидатскую диссертацию, участвует в первой Всесоюзной конференции востоковедов.

С шестьдесят первого года Юрий Завадовский становится старшим научным сотрудником отдела Древнего Востока Института востоковедения Академии Наук в Москве, защищает докторскую диссертацию по арабским диалектам Магриба, публикует работы по арабистике, семитологии, бербероведению, мероистике...

Дочь Юрия Завадовского – Светлана передала в журнал «Грани» свои воспоминания об отце, с которыми мы и предлагаем познакомиться нашему читателю.

...Было начало семидесятых годов. Папа часто приезжал к нам на дачу и всякий раз привозил новую главу своего «Автобиографического романа». Это не были мемуары, хотя поч-

ти все факты в этих главах были взяты из жизни. Это были скорее небольшие рассказы, картинки, мозаично рисующие его жизненный путь. Тогда еще папа не знал, что жизнь его так неожиданно оборвется в семьдесят девятом году и этот роман останется незаконченным...

Мы с увлечением слушали его чтение, сидя на террасе, среди леса, всегда с букетом полевых цветов на столе. Уютное дачное московское чаепитие. Папины мемуары представляли собой нечто вроде «романа становления» (Bildungsroman).

Парижская жизнь, русская эмиграция, годы учения в Школе восточных языков, восточные путешествия – все описывалось через призму восприятия молодого человека, некоего alter ego, которого папа называл Сергеем. А свою маму, мою бабушку Александру Александровну, он вывел в этих записках под именем Александры Сергеевны, с большой теплотой и любовью передав их дружеские ироничные взаимоотношения.

Мне кажется, что имена он изменил не столько из цензурных соображений, сколько из некоего чувства стеснения, неловкости говорить напрямую о близких, друзьях, знакомых, и из нежелания давать какие-то безапелляционные оценки.

Так, например, монахиня в миру Юлия Николаевна Рейтлингер была переименована в Юленьку Кейтлингер, а его преподаватель профессор Мочульский, над которым они смеялись, будучи гимназистами, был назван Уриниусом.

Сейчас, много лет спустя, передо мной лежат наброски незаконченной последней, четырнадцатой главы. Она называется «Исповедь Сергея». Я с трудом читаю эти листки, написанные нервным почерком, с множеством добавлений, подчеркиваний, исправлений. Эта обрывистая форма, недосказанность связана с тем, что папа всегда стеснялся говорить о главных, сокровенных вещах, о тяжелых переживаниях и утратах.

Например, он так и не смог рассказать напрямую и письменно о своей дружбе с Николаем Гронским, с которым он учился в русской гимназии в Париже, потому что слишком

больно ему было вспоминать его добровольный уход из жизни из-за Марины Цветаевой.

Исповедь Сергея начинается как раз с разговора с неким Н.Г. (понятно, что речь идет о Гронском).

Видишь ли, Н., я продолжаю разговор с тобой, который уже давно вел, тебе, я думаю, в нем все будет понятно, так как ты знаешь меня, и знаешь то, о чем я говорю.

Ты помнишь, что я говорил о своем деле с о. Андреем¹. Меня его слова не только не удовлетворили, но глубоко возмутили. Он придирается к каким-то формальным положениям, которые для меня – ничто, а для него они, видимо, значат. Но я при таком положении вещей не могу и не хочу исповедоваться у него. Мне это неприятно и главное – совершенно излишне.

На приклеенном листке далее:

Чтобы успокоиться и войти в колею, мне нужен человек без надрыва и без любования собой. То есть совсем не о. Андрей. Твой приход сюда меня убедил, что ты сам в таком же положении. В моих грехах, точнее грехе, меня убедил ты сам.

И если я раньше кое-что предчувствовал, то после разговоров с тобой, а затем с о. Андреем, я стал все это чувствовать уже рельефнее и меня нужно или разубедить в наличии с моей стороны греха, или отпустить мне его после моей исповеди. Вот за этим я пришел сюда, в надежде, что меня поймут, и я получу облегчение. Хочу признаться тебе, я уже давно сам раздвоился или расслоился на три части, на три ипостаси. Вот я сам бываю собой, то есть Сергеем З. в обычное время, но коль скоро я начинаю остро воспринимать Запад, становлюсь даже не западником, а просто западным человеком, вроде бы французом, хотя я меньше всего себя именно им чувствую, я

¹ Отец Андрей Сергеенко – личность не вымышленная. Он вернулся на родину несколько раньше нас, попал в лагерь, а потом преподавал в Духовной академии в Загорске (ныне город Сергиев Посад) – С. З.

перерождаюсь и переселяюсь в иную шкуру, в иную плоть, и имя мое должно быть иным. Я – Trans- Aquarius, так переводится моя фамилия на латынь.

Но как только я иду на Восток и вгрызаюсь в него, вступаю в его плоть, я становлюсь опять-таки другой личностью, телесно и душевно, ибо каждое такое перерождение меня полностью по косточкам перетряхивает. Я придумал себе и восточное свое имя – Мауараннахри, что также является переделкой на арабский язык моей фамилии.

Я не отрываю себя ни на минуту ни от одного из этих людей, которые отделяются от меня, живут иногда собственной жизнью. Более того, они могут убегать куда-то вперед от жизни, и знать такое, чего не знаю я – Сергей. А Trans-Aquarius и Мауараннахри все это давно уже знают.

Мне они, таким образом, многое сообщают, и я живу часто как знающий, как предупрежденный о грядущем. Это не предсказания, какие-нибудь пророчества или толкования Мартына Задеки, а простые, но верные знания. В них нет ничего таинственного или сверхъестественного.

Папа всегда говорил, что он каким-то образом предчувствовал смерть своего друга Николая Гронского. Как бы «видел» его уход. И факт совпадения предчувствия и действительности глубоко порастил его. Также папа рассказывал и о других случаях. Не зря он говорил: «Я живу часто как знающий, как предупрежденный о грядущем». Интуиция, предчувствие помогали ему также и в ходе дешифровок древних надписей.

Забавно, что во мне они – Trans-Aquarius и Мауараннахри – иногда спорят и носят друг друга, будто даже дерутся, одерживая верх один над другим – сегодня один, завтра другой, без какой-либо конечной очередности.

Ты понимаешь, что вся история с посещением шейха, с изучением мусульманского символа веры – это победа во мне Мауараннахри, его торжество над Сергеем. Но Сергей, желая

исповедоваться, то есть очистить себя через посредство таинства исповеди, тоже побеждает ежечасно Мауараннахри и попирает его стопой. А когда они оба погрязают в занудстве, просыпается свеженький Trans– Aquarius , как будто будущее за ним.

Н. вздернул голову и посмотрел с любопытством на Сергея.

– Ты, наверное, думаешь, что я того, спятил... – продолжал Сергей.

И действительно, в папе причудливо сочетались множество граней его личности, и во всех своих увлечениях он был всегда бесконечно искренним. А в религиозном плане у отца, безусловно, мистические поиски смысла жизни сочетались с неутолимым любопытством, и им сопутствовало радостное восхищение жизнью.

Вот продолжение этих записок:

Помню, я бродил по Парижу, переживая свои подобного рода «отклонения», и вдруг встретил нашего милого учителя Уриниуса. Константин Васильевич в то время очень увлекался философией, такой, понимаешь ли, духовной. И мне показалось, что беседа с ним как раз поможет мне разобраться в моем состоянии. Вот я и стал изливать ему душу.

А он в ответ: «Надо вам завести легкий романчик во вкусе восемнадцатого века». Черт подери, не знаю, может быть, Уриниус и прав?! Чего я хочу? Вот хочется мне войти в науку через большую парадную дверь, то есть через такие ворота, которые, если распахнутся, то я уже там, в науке, а не по эту сторону, где только чертополох и козий помет в лучшем случае.

А в науке по ту сторону все пути стираются, и нет больше разницы между наукой духовной и светской, между науками гуманитарными и математическими, как у Авиценны. Тут все становится ясным, как после мистического озарения огнем.

Наука подлинная не расчленяется на отдельные отрасли. Охват ее безмерен. Таково, например, востоковедение. Я, пом-

ню, читал в громадной «Словесности российской» Полевого о том, что Лев Толстой хотел было в своей молодости пойти по востоковедению, но, конечно, говорит этот сукин сын Полевой, это не могло приковать его ум надолго.

А почему, спрашивается, не могло? Востоковедение столь же широко, как и вся наука, ибо всякая наука, если ею заниматься с приложением ее к Востоку, становится объектом востоковедения.

Меня интересует заниматься востоковедением, только поскольку во мне говорит Trans-Aquarius. Другу Мауараннахри этого не надо: ему нужна Европа. И он питает к ней несколько архаичный интерес. То есть смотрит на нее через призму собственного восприятия.

Мне же, Сергею, трудно разобраться, чего же во мне больше, в силу той самой неуверенности, которая живет во всех нас.

На других листках я нахожу «Исповедь Николая» (Гронского). Папа в своем романе явно передает содержание тех философских бесед, которые он вел когда-то со своим другом Гронским.

Видишь ли, Сергей, ты вполне искренен, и исповедь твоя чистосердечна. Это то, что надо, чтобы тебе самому очиститься... «Окропиши мя иссопом и паче снега убелюся».

Ты сам творец своего счастья, и у тебя выходит, что воля твоя свободна. И ты можешь в таком важном деле, как твоя совесть, не зависеть от Всевышнего. А вот у меня это не получается. В свободу совести я, конечно, верю, но беда в том, что освободиться она у меня не может, я ощущаю ее связанность и подчинение. <...>

Но вот где твой грех, действительно, тяжек, так это в том, что ты так легко отошел от религии своих предков и даже невдомек тебе тяжесть твоего проступка.

Говорю о предках, потому что по понятиям Православной церкви они тоже все входят в ее лоно на равных основаниях с живыми и с Ангелами. Они так же все взывают к Творцу до

дня Страшного Суда. И, во всяком случае, их заслуга в том, что они стоят рядом с живыми, как истые носители идеи Церкви, той самой, которую не одолеет никакая сила зла.

Я очень сильно ощущаю их присутствие рядом с нами, и они поддерживают меня в моем православии, дают мне силы считать себя одним из них, членом одного общества. А ты все это одним легким толчком отталкиваешь в сторону и становишься где-то не то в одиночестве, не то с другими людьми, которые тебе без году неделю знакомы.

А здесь – века... Здесь тысячи тысяч, сонмы и тьмы своих, с которыми ты плоть от плоти, кровь от крови.

Ведь ты сам когда-то мне сказал, с твоим языческим представлением, что мыслишь эту картину как пирамиду из черепов предков у полинезийца в хижине. Я хорошо запомнил твои слова. Пойми, как учит о. Сергей, – Николай показал на томик Булгакова, – что кроме тела есть душа, а над душой есть дух – высочайшее духовное явление, стремление которого всегда лишь к святому Духу.

Так вот на этом уровне и грех твой самый великий – отвлекать свою душу от этого стремления, то есть подчинять свои ипостаси себе и пользоваться ими для себя.

Вот почему я к тебе сегодня пришел, я пришел к тебе, Сергей, исповедать и свой грех, и просить духовного совета и обогащения, ибо наш медонский о. Андрей сам грешен тем же, чем и я: он хочет подчинить себе души, и вряд ли будет он мне в этом полезен. Я понял, что у него даже не сила любви, а сила духовного подчинения – главный движущий мотив.

Читал я, в самом деле, нечто подобное у Блаватской об индийских племенах, которые целиком, то есть во всем разнообразии своих индивидуумов, подчиняются другому племени. Речь у нее идет о тодах и курумбах – племенах с голубых гор юга Индии.

Когда тод завидит курумбу, то ложится и ждет, что тот поставит ему ногу на грудь и произнесет формулу, разрешающую ему идти дальше, без чего он считает себя как бы заколдованным и не смеет двигаться, как курица, загипнотизированная меловой линией, которую проводят у нее на шее.

Ты ведь знаешь, как он завладел умом отдельных наших прихожанок – в том числе Ниной (этим именем папа обозначал в романе Марину Цветаеву), которая дошла до того, что забросила ребенка и мужа ради церкви. Не думаю никак, чтобы это было угодно Богу, чтобы из-за Него ребенок ходил голодным и неумытым.

Далее у папы на другом листке, очевидно, написанная позже приписка:

Я смотрел на Николая, но вдруг потерял его, перестал его видеть, вместо него передо мной стоял Тот или Анубис, египетский бог с головой шакала.

Папа рассказывал мне, что это видение Анубиса было для него предвестником самоубийства Николая, который бросился под поезд пригородной электрички. Впрямую описать эту сцену, свидетелем которой он невольно оказался, он так никогда и не смог.

Помню, папа часто говорил мне: «Знаешь, есть две области, тесно связанные с востоковедением: египтология и изучение каббалы. Однако, если в них слишком углубиться, можно легко потерять нить Ариадны».

Он никогда не терял «нить Ариадны», оставаясь при всей своей увлеченности и многогранности интересов ученым, подчинившим ум строгой дисциплине и аналитическому подходу к фактам; но в правильности его слов мне удалось убедиться не раз.

Был конец сороковых годов. Мы жили тогда в Каире. Папа работал в посольстве Франции, я ходила во французский лицей. Дом наш находился посреди Нила на прекрасном, утопающем в зелени острове Замалек.

Но дипломатическая работа увлекала моего отца гораздо меньше, чем посещения Каирского музея, дешифровка иероглифов и древних надписей, экскурсии в Гизу и окрестности Каира.

Во время одного из таких посещений он познакомился с русским египтологом Виктором Михайловичем Викентьевым. Про него рассказывали самые невероятные вещи.

И, действительно, человек он был весьма странный. Жил при Каирском музее в какой-то сторожке, сам варил кашу своему сыну Юрочке, который оказался почти моим ровесником и которого моя мама по доброте душевной стала приглашать к нам домой, чтобы покормить досыта и помыть в ванне, так как при музее никаких удобств не было и мальчишка, ему тогда было лет двенадцать-тринадцать, буквально «оброс грязью», как она говорила.

Каким образом русский археолог и египтолог Викентьев попал в Каир? К сожалению, тогда я по молодости лет запомнила больше не его, а его сына, с которым обращалась порой весьма бесцеремонно, как избалованная инфанта с придворным шутком. А история Виктора Михайловича была весьма необычной.

В первый раз он попал в Египет чуть ли не в двадцать втором году, совсем молодым, и с тех пор мечтал только об одном: как бы побывать там еще раз и провести ночь в пирамиде.

Перед Второй мировой войной Советский Союз решил наладить дипломатические отношения с Египтом. Кажется, нарком Литвинов, человек глубоко образованный, посоветовал, чтобы в качестве атташе посольства СССР по культуре в Каир направили египтолога.

Тогда и разыскали вновь в Ленинграде Викентьева – молодого аспиранта академика Бартольда. Перед поездкой за рубеж его заставили наспех жениться, ибо неженатых при посольстве не держали. Так и Викентьев оказался снова в Каире.

Можно только представить себе, какие тогда были порядки и на какой «короткой привязи» держали всех посольских служащих. Но молодой атташе мечтал только об одном – провести ночь в пирамиде. Каким-то образом ему удалось это сделать, обманув надзирателей. Рассказывали, что наутро он

вышел оттуда с седой прядью в волосах. Но о переживаниях этой ночи он никогда никому не рассказывал.

После этого Виктор Михайлович Викентьев окончательно углубился в себя и целиком ушел в любимую египтологию. Он немедленно попросил у английских властей политического убежища – Египет тогда был еще под английским протекторатом, и его пристроили работать в музей, так как он прекрасно читал иероглифические письма и досконально знал египтологию.

Однако «нить Ариадны» была упущена безвозвратно. А маленький сын его Юрочка, случайно оставшийся тогда при отце, вырос в музее. Говорили, что он катался на трехколесном велосипеде, проезжая мимо золотых ящиков саркофагов Тутанхамона, расположенных в тогдашних весьма обшарпанных залах Каирского музея. Мать Юрочки, оказавшаяся в то время в Советском Союзе, вынуждена была официально отречься от сына и от мужа, и вполне возможно, что она попала в лагерь.

Как бы то ни было, музей в Каире был местом замечательным и представлял собой всемогущий магнит, который притягивал ученых со всего мира. Так, по прошествии как минимум десяти лет с того времени, когда в нем поселился Викентьев, в музее появился другой, новый атташе по культуре советского посольства в Каире.

Тогда, после Второй мировой войны, в сороковые годы было решено возобновить дипломатические сношения с Египтом, прерванные войной. История повторилась как по нотам, хотя и с другим концом.

Михаил Александрович Коростовцев – впоследствии академик – тоже был египтологом, тоже аспирантом академика Бартольда, его тоже заставили жениться наспех перед поездкой за рубеж.

И вот, на перекрестке всех этих путей им суждено было встретиться. Троице русским ученым с одинаковыми увлечениями, но с разными судьбами, которых привело в Каирский музей одно общее увлечение – дешифровка древних надписей.

Прошло некоторое время – и вдруг Михаил Александрович исчез, перестал приходить на встречи с Викентьевым и Завадовским, встречи, в ходе которых им подчас удавалось разгрызть крепкие орешки древних текстов.

Папа неоднократно спрашивал о нем у советских дипломатов, встречая их на приемах. Те ничего не отвечали и удалялись молча.

А дело было так: как-то вечером, после приема в посольстве, Михаила Александровича вместе с женой Валентиной, юной комсомолкой, встреченной перед поездкой за рубеж на танцплощадке, «умыкнули». Надев на голову мешки, их посадили в трюм советского теплохода, насильно вернули в СССР, где и продержали десять лет в разных лагерях.

Но обо всем этом папа узнал намного позже, еще лет десять спустя, когда сам вернулся на родину и, оказавшись в Москве в Институте востоковедения, случайно встретился со старым другом «Михачкой» Коростовцевым.

Никто из них тогда не знал, что Виктору Михайловичу Викентьеву суждено было возглавить в Египте школу египтологии, создать множество научных трудов и скончаться в шестидесятом году...

Но вернемся к трем ипостасям, в которых представлял себя папа.

Вот Сергей намекает в своей исповеди Николаю об истории с похищением шейха и изучением мусульманского символа веры, называя этот эпизод в своей жизни победой в нем Мауараннахри.

Этот эпизод, действительно, был в его жизни, и папа хотел было стать мусульманином, недаром он отправился в паломничество в Мекку и побывал в белом войлочном шатре шейха, который подарил ему кинжал, янтарную табличку с мусульманским символом веры, начертанным на ней в виде причудливой арабески – папа всегда объяснял нам, что арабеска есть символическое изображение бесконечности мира, в ней нет начала и нет конца, и предлагал провести ночь с

одной из его многочисленных наложниц. Но папа всегда говорил, что от этого дара он вежливо отказался. А серебряный кинжал, украшенный драгоценными камнями, так и остался при нем на всю жизнь...

Три ипостаси соответствуют той форме троичности и «трифункционалям», которые встречаются в древних текстах. Каждый подарок имеет свою функцию: символ веры – сакральную, кинжал – функцию доблести и воинского начала, а наложница – символ плодородия и богатства.

Все эти элементы безусловно взяты из мифа, трехчленную структуру и строгую внутреннюю иерархию которого папа понимал и видел в любом древнем тексте, будь то у Гомера или в «Тысячи и одной ночи».

Античные тексты и мифы, которые формировали характеры и судьбы древнейших народов, их уклад и их традиции, он воспринимал и как образец построения своей собственной личности.

Ведь миф – это не сказка, а формула поведения человека, этапы «романа становления». Вспомним древнюю эпическую тему о трех «грехах» воина. Только совершив эти грехи и покаявшись в них, герой сможет дойти до перекрестка путей.

Первый путь – путь брака, второй – путь богатства, и в конце жизни – путь смерти, как в былине об Илье Муромце.

У моего отца в жизни тоже был такой перекресток, когда надо было выбрать один из трех путей. Или остаться во Франции, где после участия в Сопротивлении наступил вдруг период «холодной войны» и папа остро почувствовал на себе, что он хотя и француз, но все-таки русского происхождения.

Или уехать в Америку, куда его звали заведовать кафедрой арабского языка.

Или вернуться на родину и принять участие в работе над переводом книги «Канон медицинских наук» Авиценны – Абу Али ибн Сино, древняя рукопись которой была обнаружена в Ташкенте.

Из всех этих путей папа выбрал третий – тот, что привел его опять на Восток. Он тогда часто повторял фразу из

пушкинской сказки: «И лежит нам путь далек, едем прямо на Восток».

Попутно мне вспомнился еще один эпизод. В Институте востоковедения Академии Наук решили издать «Путешествие за три моря» Афанасия Никитина. Папу потрясло, что никто из ученых, участвовавших тогда в этом серьезном научном издании, не догадывался – или догадывался, но не говорил об этом из тогдашних цензурных соображений, что три моря, которые посетил Афанасий Никитин, три стороны света, которые он изведal, представляют не реальное путешествие, а мифическую схему самосознания, три ступени «лестницы Иаковлево́й», по которой восходит Афанасий Никитин в достижении внутреннего совершенства.

Не только древние тексты, но и всю свою жизнь папа мыслил как подобную «лестницу». Он часто говорил: «Dans la vie il n'y a que le voyage». Путешествия для него были не механическими передвижениями с места на место, а постижением многогранности мира, как у Гаргантюа и Пантагрюэля.

Таким же образом, как распространившиеся по всей Европе кочевники-индоевропейцы в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова постигали мир с помощью трехчленной системы, подчиненной строгой иерархии. *Genius loci* (гений места) ощущался им как проникновение в наложение культур.

А вот последнее путешествие – одно из последних. В семьдесят пятом году по просьбе Академии Наук папе предложили найти место рождения Аль-Фараби.

Было множество смешных эпизодов, связанных с этим путешествием. Он поехал не один, а с моим братом Николаем и с моим мужем, художником Валерием Волковым. Путешествовали по Средней Азии, и даже два местных колхоза во главе с председателями принимали их и устроили в их честь роскошный пир, желая добиться, чтобы папа заявил, что Аль-Фараби родился именно на территории этого колхоза.

Папа ел плов и в том, и в другом колхозе, принимал их ритуальное гостеприимство, повторяя латинское изречение:

Edite, bibite, fratres, post multa secula pocula nulla! («Ешьте и пейте, братья; после многих веков – никаких возлияний»).

Когда-то, путешествуя по Италии, он списал эту надпись со стены древней трапезной, так как был весьма не чужд античного гедонизма.

И вот в конце этого путешествия была найдена древняя земля Отрар, где умер Тимур и родился Аль-Фараби. Отрар оказался на территории Казахстана, неподалеку от города Туркестан. Вблизи Отрара находится и город Саирам, древнее название которого – Исфиджаб.

Саирам древнее Москвы и Ташкента. В прошлом это был священный город, теперь – небольшое село, по-прежнему место паломничества. В древности там состоялась битва с кипчаками. Воины были похоронены на кладбище, где стоит мавзолей Козы-Байзавий. Кроме того, это место жертвоприношений – там резали баранов и молились о том, чтобы пошел дождь.

Но известен эпизод, когда принесли в жертву чуть ли не всех баранов города, а дождь так и не пошел.

В средние века царь Саирама был вассалом Кокандского хана. В общем, места знаменитые, хотя село теперь почти неизвестное, а маленький мавзолей на кургане на улице Ибрагима Ата – отца Хаджи-Ахмада Ясиви, мечеть которого украшает город Туркестан, кажется ничем особенно не примечательным.

Папа решил написать акварель, мой муж сделал набросок пастелью. И вот он спрашивает моего мужа: «Вы чувствуете, Валя, что это место – намоленное?»

Да, он чувствовал каким-то неведомым чутьем все, что оставили поколения, «тьмы и тьмы» людей, в тех местах, где находились перекрестки всех путей мира.

*Пески пустынь укроют след,
В песках пути обратно нет¹.*

¹ Стихи А. Волкова. Ю. Н. Завадовский лично не знал А. Волкова, отца моего мужа, но и живопись его, и стихи привели папу в восторг. По поводу картины «Надгробный плач» он написал статью «Восточная тематика в живописи А. Волкова». – С. 3.

НАСЛЕДИЕ

Павел Вистенгоф

Андрей Николаевич Карамзин*

Рукопись эта, помеченная тысяча восемьсот семьдесят восьмым годом, сохранилась в архиве правнука Николая Михайловича Карамзина Александра Александровича Карамзина и принадлежит Павлу Федоровичу Вистенгофу. Она так и подписана «Павель Фед. Вистенгоф».

Сами воспоминания о последних днях и гибели сына Николая Михайловича Андрея, написанные свыше ста тридцати (!) лет тому назад, являются собой законченное литературное произведение, в основе которого лежат подлинные события русско-турецкой войны.

Старую орфографию, – увы! – пришлось заменить современной – компьютер не справился с ней, но все остальное сохранено соответственно подлиннику.

Редакция

В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году я служил поручиком в Четвертом эскадроне Александрийского гусарского полка. После Четатского боя, двадцать четвертого декабря пятьдесят третьего года, наш полк не имел более горя-

* Из рукописи книги «Карамзины. Семейная Хроника», которая готовится к печати. См. «Грани» №№ 183, 185, 186, 187, 188, 196, 197, 211, 231. – Ред.

чих дел; затем, в первых числах апреля, окончилась, наконец, дорого стоившая государству, трехмесячная, неопределенная осада крепости Калафата в Малой Валахии; все приготовления для штурма этой, сильно укрепленной турками, крепости, были сожжены и уничтожены. Тридцатитысячный отряд, под командою генерал-лейтенанта Липранди, тринадцатого апреля отступил к городу Крайову – главному городу Малой Валахии.

Несколько дней перед тем в высочайших приказах отдано было, что состоявший в отставке лейб-гвардии конной артиллерии подполковник Карамзин определяется на службу в Александрийский гусарский полк подполковником, а три дня спустя последовало производство его в полковники.

Карамзин не заставил себя долго ждать и вскоре прибыл в полк, расположенный лагерем под городом Крайовым. Командир Второго дивизиона (третий и четвертый эскадроны), подполковник Сухотин, подавший рапорт о болезни и прошение об увольнении в отставку, сдал свой дивизион Карамзину; в состав этого дивизиона, как-то случайно, входили одни только русские офицеры.

Предместник Карамзина, Александр Николаевич Сухотин, вполне русский человек, был добрый и справедливый начальник и в то же время отличный товарищ. Они вскоре сошлись. Карамзину стало ясно, что в полку преобладает польский элемент, что полковой командир этому потворствует, и зло пустило уже слишком глубокие корни, так что помочь горю трудно.

В полку Карамзина приняли сухо; даже сам полковой командир, флигель-адъютант полковник граф Алопеус, встретил его не особенно приветливо и, не сближаясь с ним, все время держал себя по отношению его как-то скрытно и поодаль. Карамзин полюбил свой дивизион; солдаты любили и уважали Сухотина беспрельдно, но, сожалея, что он их оставляет, они покорились необходимости и, видя, что Карамзин также добрый и обходительный начальник, были вполне преданы ему. Сухотин представил меня Карамзину отдельно от других офицеров, как

своего друга; поэтому я пользовался особенным с его стороны вниманием и расположением до последних дней его жизни...

В конце апреля пятьдесят четвертого, отряд наш получил приказание отступить к городу Слатину, за речку Ольту; по всему было видно, что нам вскоре придется совсем покинуть Дунайские княжества. Иностранные газеты немилосердно ругали нас, предсказывая нашу гибель.

Отступление это не могло нравиться Карамзину, как человеку приехавшему с единственной целью – испытать военное счастье; бездействие отряда, однообразная аванпостная служба, видимо, тяготили его. Вся служебная деятельность наша состояла в том, что, по заведенной очереди, один из дивизионов Александрийского или Ахтырского полков, с казаками, отправлялся на полсутки версты за три от города Слатина по направлению к городам Краиову и Каракалу, и от известного пункта, образуя таким образом наблюдательный пост, расставлял свои ведеты и посылал разъезды для наблюдения за движениями турок, которые следом за нами заняли вышеупомянутые оставленные нами города. К ночи дивизион передвигался ближе к городу, чтобы в темное ночное время нечаянным нападением не быть отрезанным от главных своих сил.

День ото дня я все более и более сближался с Карамзиным; видя, что многие из офицеров, и в особенности поляки, как будто отдаляются от него, и не считая нужным заискивать в них и навязываться своим товариществом, он проводил время в обществе офицеров своего дивизиона, а между тем на подобную замкнутость с его стороны в полку смотрели не совсем дружелюбно.

Случалось мне по целым ночам просиживать в его палатке, и я со вниманием слушал интересные рассказы про заграничную жизнь и Кавказ – где он прежде служил. Проницательный ум его и светлый взгляд на вещи были мне по душе. Мы вспоминали про нашу родину, матушку-Россию: что-то будет с нею, чем-то все это кончится? Переносились мысленно и к близким нашему сердцу... Интересуясь под-

робностями женитьбы моей на прекрасной молодой девушке, которую я спустя четыре месяца после свадьбы должен был покинуть, отправляясь в отдаленную страну с полной неизвестностью о будущем, томясь более года в мучительной разлуке, Карамзин соболезнавал мне и глубоко сочувствовал моему тяжкому горю.

Бывало, в прекрасную теплую ночь пойдем бродить по берегу Ольты, отделявшей нас от позиций, занятых турками. Всюду тишина; лагерь уснул; огни в палатках погашены. Только мерные шаги часовых, храп спящих в коновязях лошадей, да по временам отдаленный, глухой грохот орудий под Силистрию – нарушали безмолвное спокойствие природы. В эти минуты Карамзин говорил иногда со вздохом:

– Почему меня там нет, там теперь более опасности, но зато более и жизни!

Однажды, помнится мне, в одну из таких ночей, незадолго до его смерти, я пришел к нему в палатку. Поговорив немного, он сказал мне, показывая на стоявшие вокруг экипажи с его имуществом: «Я могу много потерять, могу даже всего лишиться, так как случайностей войны предвидеть невозможно, но вот эту заветную, драгоценную для меня вещь у меня отнимут только с жизнью».

Тут показал он мне висевший у него на груди, на золотой цепочке, медальон с портретом жены его, Авроры Карловны, бывшей прежде замужем за богачом Демидовым, рожденной графини Шернвальд. Хотя слова эти запечатлелись у меня в памяти, но в то время я не придавал им особенного значения и никак не мог предположить, что это было предчувствие, так странно оправдавшееся впоследствии на деле.

...Между тем турки все более и более начали теснить нас: их отряды высылались на фуражировку почти в виду нашем; поэтому, от начальника главного отряда, генерала Липранди, последовало приказание, чтобы девятого мая была произведена усиленная рекогносцировка к городам Каракалу и Крайову под командою командира Ахтырского гусарского полка, генерал-майора Салькова.

В состав этого отряда входили следующие части войск: четыре конных орудия легкой десятой батареи при штабс-капитане Шемякине, сотня донских казаков Тридцать восьмого полка при капитане генерального штаба Кибека, два дивизиона – четыре эскадрона Ахтырского гусарского полка – каждый со своим дивизионером, и второй дивизион – два эскадрона Александрийского гусарского полка с его дивизионером, полковником Карамзиным.

Таким образом, девятого мая, в пять часов утра, отряд этот двинулся по направлению к городу Каракалу; отошедши верст двадцать, мы вошли в небольшую валахскую деревню, в которой происходила какая-то суматоха и крестьяне, казалось, были в напряженном состоянии. Они бросились к нам с непокрытыми головами и, низко кланяясь, горько жаловались, что не более как с час тому назад турки, шедшие из города Каракала в числе около шестисот всадников, забрали у них силою фураж и провиант и, не заплатя денег, потянулись по дороге к городу. Крестьяне присовокупили к этому, что так как турки и лошади их были чрезвычайно тощи и изнурены, то мы легко можем их догнать, разбить, взять в плен и возратить ограбленный у них фураж, в котором они крайне нуждаются сами, как люди бедные. Действительно, на влажной земле ясно обозначались следы турецких подков. Лицо Карамзина прояснилось; подсказав ко мне, он сказал с видимым удовольствием:

– Ну, Павел Федорович, вспомните как вы действовали в бою под Четати; приготовьтесь-ка, у нас будет дело.

Мы все прибодрились в ожидании, что вот сейчас будет дан сигнал: «наступать! рысью!»

Из деревни мы вышли шагом по следам скрывшихся турок, как вдруг трубач, ехавший около генерала Салькова, в голове колонны, громко протрубил сигнал: «стой!». Отряд остановился как вкопанный; мы молча переглянулись. Прискакавший от генерала Салькова ординарец отдал приказание: одну половину лошадей немедленно размундштучить, ослабить подпруги и кормить, а затем, по исполнении этого, поступить так же и с другою половиною.

На известных расстояниях для предосторожности были расставлены сторожевые посты. Карамзин изменился в лице; он не мог скрыть своего явного неудовольствия; не владея собою, он громко роптал, порицая двусмысленные действия генерала Салькова. Солдаты второго дивизиона, вторя своему начальнику, ворчали и, по обыкновению своему, называли распоряжения подобного рода изменой.

На привале, как всегда бывает, начали закусывать; фургон Карамзина был переполнен всевозможными яствами; однако он не пригласил к себе никого из посторонних офицеров, сам ни к кому не присоединялся и был окружен только офицерами своего дивизиона. Мы лежали на земле, несколько поодаль от генерала Салькова, окруженного также офицерами Ахтырского полка: казаки и капитан Кибек примкнули к ним; артиллеристы расположились несколько в стороне, составляя отдельную группу.

— Для чего же я сюда приехал,—продолжал Карамзин, — неужели лишь для того, чтобы быть свидетелем подобных возмутительных распоряжений; по моему мнению, это более нежели благоразумная осторожность, это просто трусость со стороны Салькова. Если он не надеется на своих ахтырцев, так пускай бы отрядил меня одного с моим дивизионом; я вполне убежден, что со своими молодцами я разбил бы наголову эту черномазую дрянь.

Дивизион, услышав его слова, вполголоса, но с энергией буркнул: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!»

Генерал Сальков, находясь невдалеке, не мог не видеть и не слышать происходившего.

После двухчасового отдыха отряд тронулся, изменив первоначальное направление — вместо города Каракала, мы пошли к городу Крайову по следам ушедших туда турок, и к вечеру были у деревни Покатиловой, расположенной на полпути от города Слатина в Крайов; по ту сторону, за рекою виднелись турецкие аванпосты.

Ночь прошла спокойно; едва стала заниматься заря, как отдано было приказание: «мундштучить, садиться!» Все это

делалось без малейшего шума, таинственно; даже говорили шепотом. Турки также не дремали; заметив волнение в нашем стане, они выстроились на возвышенности в боевые колонны и, как видно, ожидали нашего нападения. Тут была их регулярная кавалерия без артиллерии, приблизительно до шестисот всадников.

На рысях пошли мы в деревню: дойдя до ее половины, персправились через широкий мост; артиллерия снялась с передков, два раза ударила в неприятельские колонны. Видя, что снаряды не долетают до них, турки стояли неподвижно; тотчас был дан сигнал: «прекратить огонь и отступить!» Отряд повернул налево кругом и своим путем обратно направился к городу Слатину.

Карамзин был вне себя от досады, почему мы не атаковали турок. Отойдя верст пять, мы наткнулись на обоз, состоявший из двадцати одной каруцы (телеги), нагруженных солью и конвоируемых турками в их главный отряд к городу Краиову. Завидев нас, турки разбежались, оставив при подводах одних погонщиков – валахов.

Наш дивизион был в арьергарде: генерал Сальков прислал Карамзину своего ординарца с приказанием: «не допускать обоз этот в турецкий лагерь, а повернуть его непременно, под надежным прикрытием, в наш главный отряд, в город Слатин, так как у нас стал обнаруживаться крайний недостаток в соли».

Карамзин заметил, что никому из офицеров его дивизиона не хотелось возиться с этим обозом и покидать своих; по деликатности своей, он находился в весьма затруднительном положении. Желая пособить ему, я подъехал и сказал:

– Полковник, поручите обоз этот мне. К ночи он будет доставлен в наш отряд.

– Хорошо, очень вам благодарен, Вистенгоф, – весело ответил мне Андрей Николаевич.

Выбрав из своего отряда четырех гусар понадежнее, я остался. Жар палил. Грустно было оставаться почти одному среди безлюдной степи, в сомнительной местности. Рискую ежеминутно быть атакованными турками, мы с напряжен-

ным вниманием озирались вокруг, что чрезвычайно утомляло нас.

Волы тянулись медленно; наконец, поздно вечером кое как дотащились мы до своего лагеря. Войдя в палатку Андрея Николаевича, я застал его в постели; Василий, камердинер его, подавал ему какое-то лекарство, так как по возвращении из рекогносцировки у него обнаружились признаки лихорадки.

– Я подал Алопеусу рапорт о болезни, – сказал он, – и намерен несколько дней никуда не выходить. Вы, Павел Федорович, навещайте меня чаще и по обыкновению обедайте, – не обращайтесь внимания на то, что я буду есть один только суп.

Потом он приказал мне тотчас отправиться с донесением к князю Васильчикову – полковнику и флигель-адъютанту, состоявшему при генерале Липранди о захвате обоза с турецкою солью. При прощанье, рассмеявшись, сказал мне:

– Вы один сегодня с победою, у вас и трофеи налицо.

У князя Васильчикова я застал генерала Салькова, который, между прочим, поручил мне передать Андрею Николаевичу, что сетования его о том, что, как вчера перед привалом, так и сегодня под деревней Покатиловой, он не вступил в бой с турками, были с его стороны совершенно неосновательны. Он не имел положительных сведений о численности неприятеля; полагаться же на донесения коварных валахов считал крайне опрометчивым. Легко могло произойти, что нас заманивали в западню.

Я распрощался и отправился к себе; захваченная соль была распределена по полкам всего отряда. Это было в ночь на десятое мая.

До шестнадцатого мая отряд наш был в полном бездействии; жизнь шла своим чередом: музыка гремела; трубачи играли, лошади в коновязях фыркали, дневальные гусары по временам громко покрикивали на них, кашевары то и дело сутились около котлов, офицеры, в странных костюмах, шмыгали из палатки в палатку, пели, играли в карты и пили молдаванское вино из туземных баклаг... Такая однообразная, несложная жизнь велась изо дня в день.

Разговор генерала Салькова со мною о Карамзине я, согласно поручению его, передал своевременно Андрею Николаевичу, который все это время был как-то невесел, иногда хандрил, чувствовал себя не совсем здоровым и из палатки своей не выходил.

Если бы опытный наблюдатель попристальнее всмотрелся в лицо командира первого дивизиона нашего полка, подполковника Д., то от его взоров не укрылось бы то неподдельное самодовольствие, которое охватило его с того дня, когда Карамзин подал рапорт о своей болезни. Граф Алопеус рапортовался больным еще раньше, поэтому подполковник Дика, как старший штаб-офицер, приказом по полку был назначен командующим полком.

Имея в виду, что с полуночи на шестнадцатое мая дивизиону нашему, по заведенной очереди, следует отправиться на аванпосты, я заснул в своей палатки ранее обыкновенного, чтобы к тому времени быть совершенно готовым и затем уже не спать целую ночь. Около десяти часов вечера меня разбудил лошадиный топот проехавших около самой моей палатки двух всадников. Всадники эти остановились у палатки Карамзина.

– Карамзин спит? – крикнул один из них.

По голосу я сейчас узнал князя Васильчикова.

– Нет! – откликнулся Андрей Николаевич, – слезай с лошади и войди.

Мне слышно было как он шаркнул спичкой и палатка его мгновенно осветилась. Васильчиков слез с лошади и отдал ее держать своему казаку.

– Здравствуй, Андрей Николаевич, ты все еще нездоров? – спросил Васильчиков, войдя в палатку.

– У меня лихорадка; и хотя говорят, что будто бы при этой болезни в сумерки вредно спать, но я не вытерпел и заснул, – отвечал Карамзин.

– Вот в чем дело, – продолжал Васильчиков, – я к тебе приехал от Липранди. Завтра назначается рекогносцировка в том самом размере, какая была девятого мая. Сальков уже раз ходил; Алопеус болен, ты – также; не знаем кому и поручить

отряд. Между прочим, Павел Петрович Липранди убедил меня ехать к тебе и упросить тебя принять начальство над этим отрядом; ты не так болен, как тебе это представляется, ты просто-напросто хандришь, капризничаешь. Прогуляйся, может быть, тебе и удастся что-нибудь сделать.

Карамзин несколько минут молчал, видимо, размышляя. Потом он вдруг ответил решительным тоном: «Да, пожалуй, о болезни моей выведут еще какие-нибудь невыгодные для меня заключения! Хорошо, я согласен; с удовольствием принимаю начальство над отрядом. Василий! Василий! Давай мне одеваться!» Василий вошел. «Прикажи писарю тотчас написать рапорт о моем выздоровлении; приготовься сам и все необходимое в дорогу дня на три. К пяти часам утра чтобы у тебя все было готово. Я отправляюсь сейчас к Алопеусу для некоторых с ним переговоров».

– Вот так отлично, узнаю тебя. До свиданья! Прощай! Сейчас получишь предписание и инструкцию. Не мешаю тебе собираться и делать свои распоряжения, – сказал Васильчиков, выходя из палатки, и, сев на коня, ускакал.

Палатка моя отстояла от карамзинской шагах в десяти, так что при ночной тишине я не мог не слышать этого разговора.

– Павел Федорович! – крикнул он мне, – если вы не спите, то приходите сейчас ко мне.

Я наскоро оделся и вошел к нему. Мы сели.

– Перед этим я долго спал, – начал он, – во сне видел своего отца. Скажите, пожалуйста, – вдруг торопливо спросил он, – читали ли вы когда-нибудь сочинения моего батюшки?

Я посмотрел выразительно на него и, обидевшись, сказал:

– Я не только читал их, но учил паизусть с самого моего детства до зрелых лет; кто же из русских не был тронут в то время, читая и перечитывая по несколько раз «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм» и прочее. Ваш знаменитый батюшка, Николай Михайлович, как историограф, остался бессмертным в русской литературе!

Он крепко пожал мне руку, задумался и молчал; потом, как будто вспомнив что-то, сказал:

– Завтра непременно будет дело; вы знаете, мне поручают отряд для производства рекогносцировки по направлению к городу Каракалу. Сейчас иду к Алопеусу, просить его о назначении на аванпосты, вместо моего дивизиона, какой-нибудь другой, по его усмотрению! Я хочу, чтобы мои молодцы были в деле со мной; вас и корнета Булатова назначаю состоять при мне в качестве ординарцев, корнет Ознобишин будет за отрядного адъютанта.

Явился писарь. Карамзин подписал рапорт о своем выздоровлении и отправил его тотчас в канцелярию.

Между тем приближалась полночь; второй дивизион, выстроившись, был совершенно готов к выступлению на свой пост. Я сел на коня и стал перед своим взводом. Выйдя из своей палатки, Карамзин подошел к дивизиону и сказал: – Погодите, господа, отправляться, я сейчас к вам вернусь; вполне уверен, что граф уважит мою просьбу и согласится вместо вас отправить на аванпосты какой-нибудь другой дивизион; мне бы очень хотелось, чтобы вы были со мною.

Мы все с восторгом изъявили свое согласие; солдаты, услышав его слова, насколько позволяли ночное время и лагерные правила, дружно вполголоса пробормотали:

– Желаем, желаем идти с вашим высокоблагородием!

В палатках слышен был глухой ропот проснувшихся офицеров других дивизионов. Они ворчали:

– Разве мы обязаны за вас томиться на аванпостах? Кому очередь – тот и должен идти, а не выбирать себе службу по произволу.

Мы сделали вид, что возражения эти принимаем за шутку, и ответили им:

– Спите себе спокойно, не ваше дело: утро вечера мудренее; таскаться по такой жаре суток трое – тоже не мед! То ли дело на аванпостах! Вы сыграетесь, а мы вернемся да с выигравшего жженку потребуем.

Вскоре после того возвратился Карамзин. Он объявил нам, что граф не согласился переменить дивизион на том основании, что лошади наши будто бы тощее других эскадронов; наш дивизион ходил девятого мая с генералом Сальковым

слишком далеко, другие же эскадроны отдыхали. Кроме того, Алопеус заметил, что второму дивизиону и прежде всегда как-то больше других выпадало на долю нести тяжесть военного времени, и поэтому с его стороны было бы даже недобросовестно и несправедливо особенно налегать на этот дивизион, тогда как эскадроны всего полка должны быть для него одинаково дороги. К этому примешивалась и хозяйственная часть, лежащая на ответственности полкового штаба. Против таких доводов возражать было трудно.

Пожалев, что с ним не будет его дивизиона, Карамзин простился с нами – до свиданья на аванпостах, через которые пролегал завтра путь его отряда. Как офицеры, так и нижние чины нашего дивизиона были крайне недовольны отказом полкового командира на просьбу их начальника; затем дивизион отправился своим порядком на свой пост для смены Ахтырского.

Было три часа по полуночи; я полудремал, лежа на земле около своего коня; поводья были у меня в руках. Прислушиваясь, всматриваясь и вижу, что кто-то скачет из Слатина прямо на нас; после оклика и всех формальностей человека этого допустили до меня. Оказывается Егор, мой слуга; в руке у него записка, под мышкой узелок.

– От кого? – спрашиваю я.

– От подполковника Сухотина, – отвечает Егор. Сламываю печать и читаю следующее:

«Павел! Два часа ночи, а мы с Андреем Николаевичем еще не спим, да вряд ли и будем спать. Он поручил мне написать и тотчас дать знать тебе, чтобы к пяти часам утра ты был совершенно готов, то есть, чтобы твой Мальчик – моя верховая лошадь был накормлен, напоен и замундштучен. Мы долго толковали, и он порешил, что, при его отношениях к полку, около него непременно должен находиться благонадежный и близкий к нему человек; поэтому-то он и назначает тебя ординарцем при себе. Как только отряд будет приближаться к вам, ты и подъезжай к нему; так как вы отправляетесь, может, быть дня на три, то посылаю тебе полотенце и мыло; этих необходимых вещей, я знаю, ты не взял с собою. Твой А. Сухотин».

Я был чрезвычайно доволен таким назначением; отправившись показать записку своему эскадронному командиру, майору Торвиге, я застал его спящим крепким сном, прислонясь спиной к дереву. Разбудить его стоило большого труда, а между тем я обязан был сообщить ему содержание этой записки. Наконец, он пробормотал сквозь сон: «С Богом! Хорошо!» и опять захрапел. Положа записку около него, я отошел к своей лошади.

Шестнадцатого мая, в пять часов утра, Карамзин с введенным ему войском¹ подходил к нам. Наш дивизион, за исключением расставленной впереди цепи ведетов, для встречи начальника своего выстроился в должном порядке. Я поскакал к нему; подъезжаю, осаживаю коня, берусь под козырек.

– Можете себе представить, – обратился ко мне Карамзин, – граф Алопеус не согласился вас отпустить со мною на том основании, что во втором дивизионе и без того мало офицеров, поэтому оставшимся будет тяжело нести аванпостную службу и другие обязанности, предоставляя мне право из шести эскадронов, при мне находящихся, выбрать любого офицера себе в ординарцы, по моему усмотрению. Кого же я выберу, когда я хорошо почти никого не знаю? Не судьба вам, Павел Федорович, быть вместе со мною!

Он выразительно посмотрел на меня, смущенного его словами. Крепко пожав мне руку: «До свиданья, прощайте!» – сказал он. «Если возвращусь с успехом, то будем праздновать как следует», – прибавил он.

Подъехав к своему дивизиону и поздоровавшись с ним, Карамзин громко сказал:

– Знаю, что вы искренно рвались идти со мною, но не суйте, ребята, и не ропщите, что это не исполнилось. Ваша

¹ Четыре конных орудия легкой батареи при штабс-капитане Ма-линовском, одна сотня казаков Донского тридцать восьмого полка при поручике генерального штаба Черняеве, и три дивизиона Александрийского гусарского полка (шесть эскадронов), имея по восьми рядов во взводе. Первым дивизионом командовал подполковник Дика; третьим подполковник Бантыш и четвертым майор Раздеришин. – П.В.

священная обязанность беспрекословно повиноваться высшему начальству, над вами поставленному, и исполнять точно все его приказания; это есть главное основание воинской доблести. Благодарю вас, братцы, от всей души за ваше усердие ко мне. В короткое время моего командования я искренно полюбил вас, как честных воинов, настоящих молодцов. Если Бог поможет возвратиться с победою, то вы хотя и не были со мною, не участвовали в бою, но, как близкие мне, не останетесь без вознаграждения! До свиданья, господа! – обратился он ко всем нам.

– Прощайте, братцы! – крикнул еще раз гусарам, отскакивая от фронта. Солдаты громко, единодушно и задущево напутствовали его.

Отряд тронулся безмолвно; все дальше и дальше уходил он, оставляя за собою целый столб густой пыли, сквозь которую как огненные искры блестело в отдалении ярко вычищенное оружие гусар.

Трудно не верить в предчувствие! Помню я, что в ту минуту, когда отряд совершенно скрылся из глаз, точно свинцовая гиря начала давить мне грудь, на меня напала тоска, уныние, какая-то необъяснимая скорбь! Случалось и прежде расставаться со своими на короткое время, но ничего подобного я ни разу не испытывал. В полдень, по обыкновению, нас сменил Ахтырский дивизион.

В лагере та же грусть: палатки пусты, коновязи без лошадей, праздные денщики, развалившись на земле от нечего делать, мурлычат себе под нос непривлекательные песни; вокруг все тихо, мертво.

Я пошел к Сухотину. Он был не в духе. Поругав Алопеуса, сказал:

– Садись и слушай, что я тебе буду рассказывать. По уходе твоём на аванпосты, Андрей Николаевич пригласил к себе троих наших дивизионеров и всех шестерых эскадронных командиров на совещание; оно шло как-то вяло, апатично и кончилось ничем; ссылаясь на предстоящий ранний поход, они просились хотя немного перед тем отдохнуть. Мы оста-

лись вдвоем; тогда ему пришла мысль уведомить тебя, что он берет тебя с собою, на что утром, при отходе отряда, Алопеус не согласился, как тебе уже известно. Андрею Николаевичу что-то не спалось всю ночь; в четыре часа приказано было седлать, а около пяти отряд был уже собран, и построен в ожидании прибытия к нему Карамзина. По обыкновению, как тебе известно, до прибытия старшего начальника, стоят всегда все «вольно»; солдат в это время тянут из коротеньких люлек свой любимый тютюн, хохочут, болтая разный вздор. Офицеры также, собравшись в кружок перед фронтом, курят сигары, папиросы, смеются, острят, болтают о картах, трунят над проигравшимся, вспоминают попойки, критикуют пехоту и прочее. Солдаты чутко прислушиваются к рассуждениям своих начальников, сочувствуют им, и, делая нередко очень удачные заключения, подчас верно определяют нравственные качества и умственные способности говорившего. Так было и тут. Д... начал:

– Посмотрим, что-то сделает сегодня наш петербургский фронт? Черт знает, что творит Липранди! Можно ли поручать столь серьезное дело человеку новому в полку, только что поступившему вновь на службу из довольно продолжительной отставки, небывалому еще в делах!

Он говорил это самоуверенно, по обыкновению подбачиваясь, куря папироску, и видимо недовольный тем, что накануне Карамзин подал рапорт о своем выздоровлении, отняв таким образом у него первенство. Говорившего окружали офицеры, слушая речь его со вниманием.

– Да, для вас, Кузьма Егорович, это просто обида; вы с юнкерского чина служите в нашем полку, все солдаты вас знают и уважают; они привыкли уже к вам. А это черт знает что такое! Без году неделя в полку, а уже, смотрите, полковник! За что произвели? Чем отличился? Разве тем, что сел всем на шею – вот это так! Служи тут после того! – басил, куря из своей трубки Жукова табак, подполковник Б., вечно озлобленный тем, что, служа что-то давно в чине подполковника, никак не мог попасть в полковники.

– Да я бы на вашем месте, Кузьма Егорович, сказался больным, но не стал бы подчиняться Бог знает кому, – возразил командир седьмого эскадрона, штаб-ротмистр П.

– Разумеется, – отозвался поручик Х., куря гаванскую сигару и выправляя воротничок своей накрахмаленной батистовой рубашки.

Карамзин вышел из палатки, раздалась команда: «Садись! Равняйся! Смирно!»

Андрей Николаевич сел на коня, подскакал к фронту и поздоровался с ним. Солдаты, наущенные предыдущими разговорами своих ближайших начальников, ответили вяло, негромогласно: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!».

Проехав вдоль фронта, Карамзин возвратился на середину всего отряда, попросив подъехать к себе всех штаб- и обер-офицеров.

– Господа! Для вас я лицо еще новое, – начал этот благородный человек; – мы не имели времени хорошенько узнать друг друга. Бог даст, время сблизит нас теснее. В настоящую, быть может, серьезную по ее последствиям, минуту, забыв мелочные расчеты самолюбия, будем иметь в виду одну общую цель! Зададимся мыслию выполнить свято задачу, на нас возложенную, будем действовать по-братски для достижения успешного результата. Если кто-нибудь из вас, господа, во время предстоящей, может быть, небезопасной рекогносцировки, найдет нужным дать мне благоразумный совет, то я с удовольствием приму его как от истинного товарища.

– Полковник! Вы наш отрядный начальник, теперь мы должны беспрекословно исполнять все ваши приказания и распоряжения, – отозвался подполковник Дика.

Прочие офицеры молчали. Затем Карамзин попросил всех стать на свои места и, обратившись к гусарам, сказал им:

– Еще исстари полк ваш получил название бессмертных, храбрых гусар. В эту минуту я счастлив, что командую вами! Вполне уверен, что если придется сразиться с врагом, то вы, подобно вашим предкам, ударите на него дружно, смело, покажете себя истинными молодцами! Не правда ли, братцы?

– Рады стараться! – отвечали громко гусары, повеселев в лице.

Подъехав к казакам, он сказал:

– Казаки всегда составляли доблестное войско, всегда были молодцами! Ваша история полна блестящих подвигов неустрашимости против врагов. Вы таковыми и теперь себя покажете!

Казаки благодарили восторженно.

Артиллеристов приветствовал он следующими словами:

– До этого времени вся служба моя была в артиллерии; беспримерная храбрость и самоотверженность этого войска известны каждому, мне же в особенности. Развитостью вы стоите выше других. На вас, братцы, я вполне надеюсь!

– Рады стараться! Постараемся, ваше высокоблагородие! – громко крикнули добрые артиллеристы.

Отряд тронулся в путь.

Сухотин кончил свой рассказ.

– Что ты скажешь? – спросил он меня.

– Скверно, – ответил я.

Возвратившись с аванпостов, товарищи мои все заснули; мне не спалось, сон бежал меня. Скучно. Я пошел бродить по лагерю, зашел в палатку Карамзина, чтобы взять что-нибудь почитать – с ним была библиотека. Тут все напоминало мне недавнее его присутствие: недопитый стакан чаю стоял на его складном столе, в пепельнице лежала только что недокуренная сигара, тут же открытая книга «Revue des deux Mondes», на постели валялся халат, в углу брошены туфли.

При виде всего этого, мне сделалось как-то тяжело на душе; хотел читать – не читается, книга валится из рук, мысли в каком-то разброде.

Пошел было к себе полежать – не лежит, не спится: вскочил и отправился бродить по берегу реки Ольты, на те самые места, где мы хаживали с Андреем Николаевичем.

Погода была тихая, жаркая; обойдя извилистый берег реки, я взглянул на город Слатин. День был праздничный; всюду кишел народ; пестрые толпы красивых молдаванок наполня-

ли улицы: они хохочут и болтают, кокетничая с пехотными офицерами. Крестьяне и солдаты, с короткими трубочками во рту, толпятся около шинков, шумят, кричат; повсюду гам и говор. Так прошел весь день.

Было уже восемь часов вечера – с берега видно далеко – думаю, вот и наши, может быть, скоро вернутся, не найдя турок; по нет, этого быть не может. Я хотел было уже идти к себе, вдруг смотрю, на горизонте едва обрисовался черный, густой столб пыли. Я остановился; пыль эта клубилась, все росла и быстро приближалась; последние лучи догоравшего солнца, ударяя на блестящее оружие скачущего всадника, вдруг ярко осветили гусара Ахтырского полка. Ясно было, что посланный скакал от наблюдательного поста с каким-нибудь важным известием. Вдали виднелась еще большая масса пыли.

Сердце у меня так и замерло! «Что-то недоброе случилось», – подумал я. Предчувствие не обмануло меня; не успел я дойти до палатки Сухотина, как внизу, в штабе главного отряда, ударили тревогу; мгновенно во всех полках отряда ее подхватили, и вот повсюду барабаны затрещали, гусарские сигналисты пронзительно затрубили. «Седлай! Мундштучь! Садись! Становись к расчету!» – кричали вахмистры. Все суетилось, торопилось; сумятица была общая.

Спрашиваю – что случилось? Никто ничего не знает. Наши люди сами по себе, без приказанья, начали укладываться и запрягать лошадей. Вдруг слышу, в стороне денщики между собою говорят, будто турки ворвутся сейчас в наш лагерь, подобно тому, как они это сделали в селе Четати. «Все может быть», – подумал я.

Севши на коней, мы спустились вниз в штаб главного отряда, который весь, в полном составе, был в сборе. Так как ночью предполагалось куда-то идти, то дивизион наш получил приказание находиться в авангарде отряда. Тут мы узнали, что наш полк разбит турками наголову. На мой вопрос: где Карамзин? – Убит! – отвечают мне.

Нет, думаю, этого быть не может; я не верил своим ушам; если он убит, значит всех убили.

Наконец, мимо нас стали проходить возвращавшиеся, утомленные Александрийцы; они шли группами, на большом расстоянии одна от другой. Группы эти состояли из тридцати, тридцати пяти и сорока человек людей, скученных из разных эскадронов, что изобличала нумерация на их киверах. Люди, видимо, были раздражены постигнутою их неудачею и потому на вопросы наши отвечали неохотно и пасмурно.

Наконец, от прибывающих офицеров этого злосчастного отряда мы положительно узнали, что турки отбили у нас наши четыре орудия; прислуга почти вся, а артиллерийские лошади совершенно все перебиты.

Нашего полка убиты: полковник Карамзин, поручики Винк и Брошневский; юнкера князь Голицын и фон Ган; некоторые офицеры ранены. Гусаров нижних чинов выбыло из строя убитыми и ранеными двадцать человек; у казаков убито и ранено несколько человек. Хорошо, что была ночь, она нас избавила от сардонических взглядов офицеров других полков, сгруппировавшихся из любопытства около нас и возвращавшихся наших товарищей. Ясно было, что поражение полное. «Вот, – подумал я, – и Александрийский бессмертный полк! Один погром – и слава твоя потухла».

Было десять часов вечера; отряд тронулся под начальством самого генерала Липранди по направлению к Каракалу. Группы Александрийцев, собранных из разных эскадронов, не переставали попадаться нам навстречу. Мы краснели, нам слышно было, как офицеры других полков и в особенности пехотные подтрунивали над нами.

Отошедши верст пять, приказано было остановиться. Между генералами, видимо, происходило какое-то совещание. Оно продолжалось недолго; нас немедленно повернули налево кругом и отвели обратно в Слатин, на прежние позиции. Куда мы шли, зачем вернулись – это оставалось для нас тайной.

Мы возвратились в лагерь около полуночи. Тяжело было нам, как от офицеров своего полка, так и от артиллеристов узнать подробности несчастного дела этого, а также о плачев-

ной кончине злополучного Карамзина и прочих наших товарищей. Все были в переполохе, утомлены, осовевши; всякий занят был самим собою; многие были слегка ранены, оцарапаны. Иные, познакомившись с силою турецких фухтелей, лежали с черными пятнами на спине и стонали; другие ворчали об утрате своих часов и полумимериалов и немилосердно все зло и вину взваливали на мертвого Карамзина...

На другой день весь отряд, исключая бывших вчера в деле, опять под командою генерала Липранди, отправился под город Каракал, но, не найдя там никого, возвратился обратно в Слатин.

На следующий день, когда первые впечатления неудачи миновались, когда все более или менее поуспокоились, вот сведения, какие сообщили мне офицеры, бывшие в деле шестнадцатого мая тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года...

Отряд Карамзина, отойдя от своего наблюдательная поста верст на двадцать вперед, остановился и в виду небольшой валахской деревни сделал двухчасовой привал. По обыкновению, одна часть, размундштучив лошадей, кормила их, а потом и другая. Солдаты поели сухарей. Ведеты были выставлены по направлениям к Краиову и Каракалу и к этим двум турецким пунктам высылались разъезды.

И здесь, как при выступлении из Слатина, многие офицеры дозволили себе, в виду нижних чинов, употреблять неуместные выражения, подрывающие доверие и ослабляющие власть всякого отдельного начальника, и притом еще в виду неприятеля, с которым легко могло быть дело. Предполагают также, будто предатели-валахи имели время и возможность сообщить в Каракал о численности нашего отряда.

Начальник Каракала, городские и сельские обыватели еще в прошлом году, во время стоянки у них нашего полка, когда мы шли вперед как завоеватели и покорители, относились к нам враждебно и действовали предательски.

На привале Карамзин пригласил к себе всех офицеров на закуску, но многие отказались от нее и, отделившись, образо-

вали особую группу, громко смеялись, шумели и кричали на польском наречии. Карамзина, видимо, коробило это. Он ничего не ел и не пил и, сверх обыкновения, не дотронулся даже до чая, который он очень любил, так что камердинер его Василий крайне этому удивился. Молча лежал он на земле, курил сигару и сосредоточенно о чем-то думал. Под конец встал и просил офицеров, чтобы они кушали и пили для подкрепления сил, добавя: «Бог знает где и когда нам придется сегодня ужинать».

Роскошно накормив своих ординарцев, унтер-офицеров и вестовых, он приказал играть подъем; отряд двинулся далее по направлению к Каракалу.

Отойдя верст семь, они подошли к небольшому, узкому мосту, перекинутому через мелководную реку Тизлуи. Карамзин скомандовал: «Стой!» Наскоро было сделано совещание и тут же порешили перейти этот мост на том основании, что в случае отступления легко можно было переправиться вброд.

Поручик генерального штаба Черняев¹ был против этого, но Карамзин, увлекшись большинством голосов, не послушал Михаила Григорьевича. Перешли мост «справа по три», так как он был узок и без перил, и отошли еще версты три вперед.

Черняев, ехавший с казаками из авангарда, вдруг остановил их, сам вернулся назад к отряду и доложил Карамзину, что в версте отсюда предстоит еще переправа через другой, такой же узкий мост, перекинутый над топким болотом.

Карамзин задумался; видя неудобство оставаться в бездействии между двумя мостами, он сказал Черняеву: «На основании данной мне инструкции, я действую самостоятельно; не думаю, чтобы с таким известным своею храбростью полком нам пришлось отступать; не допускаю этой мысли; с этими молодцами надобно идти всегда вперед».

Все молчали. Черняев заметил Карамзину, что это громадный риск с его стороны, вернулся к казакам и пошел с ними вперед. Вслед за казаками весь отряд с артиллерией перешел

¹ Михаил Григорьевич, в настоящее время генерал-майор, бывший главнокомандующий сербской армией в 1876 году. – П. В.

и другой мост, вступив на необозримую, ровную поляну; вдали, на горизонте виднелись высокие башни Каракала.

Пройдя еще с версту, наши увидали, что от Черняева несется казак; подлетев к Карамзину, он докладывает, что на обширной равнине этой, впереди их, стоят четыре колонны неприятельских всадников, каждая примерно в пятьсот человек, две колонны регулярной кавалерии и две баши-бузуков; держатся они более к стороне города; артиллерии у них не видно.

Карамзин тотчас навел на указанное место свою подзорную трубу и, посмотрев внимательно, нашел, что стоят только две колонны, а остальные две массы, по его мнению, суть два забора, находящиеся вблизи самого города. Вслед затем он приказал дать сигнал «рысью».

Отряд двинулся на рысях. Пройдя этим аллюром три версты, он подошел к неприятелю на такое расстояние, что артиллерия, видимо, могла уже действовать. Тогда Карамзин приказал дать сигнал «огонь». Молодецки артиллеристы снялись с передков, орудия грянули, турки зашатались. Но торжество это продолжалось недолго. Артиллерия, по неизвестной причине, вдруг без приказа прекратила огонь¹.

Карамзин побледнел как полотно, но скрыл свой ужас и не потерялся. Гусары видимо оробели, турки ободрились. Тогда Карамзин приказал ударить сигнал «к атаке». Начать должен был восьмой эскадрон, на который Карамзин надеялся более других; молодецки бросился эскадрон на правый фланг неприятеля, врубился в средину турок и начал их косить своими саблями. К несчастью, в самую жаркую минуту, командир эскадрона поручик Винк, увидел, что старший вахмистр его, окруженный пятью турками, непременно будет изрублен, бросился с одним гуса ром к нему на помощь. Храбрый Винк тут же был изрублен, а вахмистр спасен.

Это обстоятельство нравственно сильно подействовало на солдат. Увидя себя без начальника, который имел на них

¹ Есть подозрение, что зарядов, по оплошности, взято было в крайне ограниченном числе и их не хватило. – П.В.

большое влияние, они вдруг сами собою, без приказанья, бросились назад.

Дан был сигнал идти в атаку пятому эскадрону. Командир эскадрона, майор Красовский, рванулся вперед. Оглянувшись, он увидел возле себя одного только своего юнкера фон Гана: эскадрон на полдороге до неприятеля повернул назад. Турки на месте изрубили Гана, а Красовский, с раздробленною рукой, ускакал назад.

Дан был сигнал к «общей атаке». Эскадроны не тронулись с места; офицеры и люди растерялись, мялись, жались один к другому, не слушая ни трубача, ни словесной команды Карамзина. Суматоха была общая. Образовалось безначалие!

Между тем турки, видя все происходившее у нас и поняв, в чем дело – начали заскакивать к нам в тыл, торопясь завладеть тем самым мостиком, который сзади нас перекинут был через топкое болото, дабы преградить нам путь к отступлению. Тотчас весь отряд, поняв этот маневр, увидел себя в безвыходном, ужасном положении. Минута была тяжелая!

В это самое мгновение, в середине расстроенного фронта всех трех родов оружия, кто-то скомандовал громким голосом: «Налево кругом! Марш, марш!». Все бросились опрометью, без оглядки, назад; каждый из чувства самосохранения летел скорее на этот роковой мост, спасая себя. Напрасно Карамзин кричал им: «Стойте, господа! куда вы? стой, стой!» – никто не слушал.

Турки, видя такой страх бежавших, бросились на них в сабли и пики, настигли артиллерию, перебили почти всю растерявшуюся прислугу, перекололи всех лошадей их, овладев вполне нашими четырьмя орудиями.

На мосту была свалка своего рода: тут наши теснились, жались, торопясь пробиться и перескочить мост; в этой свалке были убиты первого эскадрона поручик Брашневский и юнкер князь Голицын. Поручику Брашневскому турки предлагали сдаться в плен, так как под ним была убита лошадь; он не согласился, и предпочел умереть.

Ознобишин и Булатов, оставя Карамзина посередине фронта, будучи посланы для отдачи приказаний, уверяют, что по возвращении их не нашли уже его на месте И, полагая, что он со всей массой поскакал к мостику, сами помчались туда же, удачно пробились и перескочили его.

Но не так было дело. Когда все ринулось бежать, лошадь Карамзина бросилась за прочими конями; он придержал ее; та взвилась на дыбы и опрокинулась назад. Вовремя вынул он ноги из стремян, уклонясь в сторону. Когда лошадь встала, Карамзин уже не мог сесть на нее, потому что, во время падения, она порвала подперся, вследствие чего седло съехало к самому хвосту. Она начала бить задними ногами до тех пор, пока не сбила совсем седла, затем ускакала вслед за другими нашими лошадьми.

Карамзин остался пеший, совершенно один, два трубача, бывшие при нем и те ускакали. Скакавший мимо него унтер-офицер второго эскадрона Кубарев, видя такое положение своего начальника, остановился, мгновенно схватил за узду бродившую тут лошадь из-под убитого башибузука и подвел ее к Карамзину. Карамзин сел на нее; но она была слишком мала для его большого роста, слабосильна и ленива до того, что, не взирая на прищипоривание, почти не трогалась с места.

Карамзин слез и бросил ее; в это время артиллерист, увидав это, подводит ему прекрасную из-под орудия подручную лошадь, крича: «Ваше высокоблагородие, садитесь скорее как-нибудь». – «Благодарю тебя, мой друг, благодарю, спасибо тебе, мне теперь уж больше ничего не нужно», – печально ответил ему Карамзин.

В это мгновение наскочили турки, убили артиллериста, взяли лошадь и окружили Карамзина. Их было человек двадцать, они сорвали с него золотые часы, начали шарить по карманам, вынули все находившиеся при нем полуимпериалы, сняли кивер, серебряную ладонку, кушак, саблю, пистолет, раздели его догола, оставив только на нем канаусовую рубашку. Затем били его плашмя саблями по голым ляжкам и ногам, погоняя идти проворнее в плен. Страдалец повино-

вался. В это самое время, один из башибузуков, подметив золотую цепочку, болтавшуюся у него под рубашкой, разодрал ее и сорвал с груди тот самый медальон, который несколько дней тому назад он показывал мне в своей палатке, в минуту откровенности.

Карамзин побледнел как смерть; на лице его изобразилось горькое отчаяние. Взведя глаза к небу, опрометью выхватил он саблю из ножен злодея, ударил его со всего размаха по голове и грабитель упал на месте бездыханный.

Другой бросился к нему – Карамзин перешиб ему руку; тогда остальные турки, освирепев, бросились разом на него, закололи его пиками и саблями, нанеся восемнадцать смертельных ран, и, бросив труп, сели на лошадей и ускакали.

Последнее обстоятельство рассказывал нам раненый гусар, сидевший все время притаившись под мостом и видевший все происходившее, он кое-как дотащился к ночи на другой день к нам в отряд.

Краиовские купцы, слышавшие об этой катастрофе от тех самых турок, которые убили Карамзина, добавляют, что паша был очень недоволен ими, почему они не доставили Карамзина в плен живым, зная наперед, какой громадный выкуп можно было бы получить за него. Те рассказали ему подробности дела, оправдываясь невозможностью выполнить его желание.

...Три дня спустя после этого граф Алопеус подал рапорт о своем выздоровлении и вступил в командование полком. Быв дежурным по полку, я явился к нему с вечерним рапортом. Между прочими разговорами, он сказал мне:

– Вы должны быть всегда мне благодарны, Вистенгоф, за то, что я не допустил вас шестнадцатого мая идти с Карамзиным. Вряд ли вернулись бы вы! У вас дома молодая жена, мне жалко было вас. Я очень недоволен Карамзиным, он помятил бессмертную славу полка.

– Трудно определить, ваше сиятельство, что было бы со мною, если бы я там находился. Благодарю вас за сочувст-

вие к моему другу, к моей жене. Андрей Николаевич теперь покойник, не будем тревожить прах этого человека, жизнь его имела несравненно более шансов, нежели моя, он слишком дорого заплатился за свою уверенность в бессмертную славу нашего полка, – ответил я, раскланялся и ушел.

...Спустя семь дней после погрома нашего полка, рано утром, каруцца, запряженная двумя волами, со скрипом въехала в наш лагерь. На ней лежали обезображенные, черные как сапоги, три трупа: Карамзина, Брашневского и князя Голицына. Правая рука Андрея Николаевича висела на одной только жилке.

Привоз в наш лагерь этих трупов так грустно напоминал про шестнадцатое мая, что все как-то невольно говорили шепотом; у многих было тяжело на сердце, хотя и от совершенно разных причин.

Преданный Карамзину второй дивизион в полном составе со слезами опустил гроб его в холодную могилу.

Так печально окончил жизнь, в цветущих еще годах, благородный, умный, образованный Андрей Николаевич, один из сыновей знаменитого нашего писателя Николая Михайловича Карамзина.

*Симферополь.
Павел Фед. Вистенгоф.*

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Александр Горянин

Две России*

Если ученый берется за книгу по отечественной истории и в качестве хронологических границ своего исследования выбирает даты 1917–1993, до сих пор это означало – и у нас, и за рубежом, – что речь идет об истории советского государства.

Но это государство не было единственным деятелем на отечественной политической арене. Ему противостоял второй деятель – отечественное же сопротивление, активное и пассивное, внутри страны и вне ее. Это была Вторая Россия.

Тем, кому это непривычно слышать, напомним: когда дело дошло до открытой политической борьбы 1988–1993 годов, Вторая Россия уверенно победила советское государство.

Отсюда название книги: «Две России XX века».

Ее автор, Борис Сергеевич Пушкарев, сын историка-эмигранта Сергея Германовича Пушкарева**, подчеркивает: «Книга – своего рода продолжение работ С.Г.Пушкарева “Обзор русской истории” и “Россия 1801–1917”».

* Б.С.Пушкарев. Две России XX века. Обзор истории 1917–1993, соавторы К.М.Александров, С.С.Балмасов, В.Э.Долинин, В.Ж.Цветков, Ю.С.Цурганов, А.Ю.Штамм. – Москва: «Посев», 2008.

** 1888–1984.

Таким образом, сын завершил изложение отечественной истории, начатое отцом от времен Древней Руси и доведенное до семнадцатого года. Завершил, по-моему мнению, достойно.

Автор не ограничивается описанием просчетов, провалов и преступлений советского режима. С объективностью он излагает и достижения этого режима.

На фоне привычного нам советского, да и постсоветского тоже, канона подачи материала книга производит достаточно необычное впечатление. Прежде всего, она увлекательна, от нее невозможно оторваться, даже когда речь идет о советском государстве – даром, что ему посвящены уже тысячи томов и, кажется, ничего нового сказано быть не может.

Борис Пушкарев сообщает читателю много нового и неожиданного и объясняется это просто: он наблюдал за СССР с юности – с первых послевоенных лет – и до девяностого года извне, но другими глазами, чем иностранцы.

Россия всегда была для него, родившегося в Праге, своей и родной, им же не все было дано понять и прочувствовать. К тому же, мимо внимания «советологов» и «кремлеведов» прошло множество фактов, обнародованных эмигрантской печатью.

Я совершенно уверен, что книга «Две России» не была бы написана, если бы ее автор не переехал жить из США в Россию (в отличие от многих эмигрантов советского времени).

Давно известно, что изнутри любой феномен постигаем лишь до известного предела. Это относится и к таким сложным системам, как нация и государство, особенно в условиях цензуры в этом государстве. Удаленная точка наблюдения не только многое открывает, она еще и ставит страну в мировой контекст. В мировом контексте, среди прочего, начинают выглядеть очень скромно успехи советских «пятилеток».

Нет сомнений в том, что Второй России можно было бы посвятить отдельный труд, но чтобы понять ее, необходим фон советского режима. Суть Второй России несводима лишь

к противодействию этому режиму. Провидение возложило на нее не менее важную задачу: сохранить, сберечь ушедшую Россию, перебросить мост над исторической пропастью. Обе задачи были успешно выполнены.

Победа Второй России была, конечно же, предрешена. Зоркие внешние наблюдатели – от Шпенглера до Черчилля – сразу увидели в захвате власти большевиками, чудовищную опечатку истории. Советские историки, затрагивавшие эту тему, объявляли «Великую Октябрьскую социалистическую революцию» исполнением вековой народной мечты. Некоторые из них сытно на этом кормились.

С тем, что революция воплотила в себе «великую сермяжную правду», согласилось и довольно много российских интеллигентов – от Николая Бердяева до Васисуалия Лоханкина, – интеллигентов, народа не знавших и смертельно его боявшихся. А то и просто ненавидевших: хороший пример – Максим Горький, ненавидевший русское крестьянство.

В своих работах эмигрантского периода Сергей Пушкирев (разумеется, не он один) доказывал, что революция семнадцатого года – «обвал», «обрыв» русской истории, что она была явлением, чуждым национальным корням русского народа. Борис Пушкирев убедительно развил эту мысль в «Двух Россиях».

Советский период, который закончился фактически в девяносто первом году, но формально – лишь с принятием российской Конституции девяносто третьего года, упразднившей систему Советов – автор делит на пять этапов.

Гражданская война. Вспышки сопротивления октябрьскому перевороту от Москвы до Иркутска вскоре заглохли. Никому не хотелось начинать братоубийственную войну. Кто мог тогда знать, что большевики умертвят миллионы соотечественников, разрушат душу и нравственность народа, превратят страну в ад на земле?

В те дни многие рассуждали так: одного «временного» социалиста, притом крайне надоевшего, сменит другой, да и то лишь до Учредительного Собрания. Подготовка к выборам идет вовсю, так стоит ли стрелять в своих?

Но и большевики тогда еще не планировали массовые убийства и колымские лагеря. Они ждали, что народ под их руководством дружно переделает неправильный старый мир в правильный новый, коммунистический – мир без денег и собственности, мир учета и контроля, распределения и счастья*.

Реальный мир и ценности России и Православия были идейным большевикам чужды, либо ненавистны и им было странно, что кто-то может придерживаться иного мнения. Идейных большевиков густо облепили сперва грабители и нравственные уроды, а немедленно после их победы к ним добавились карьеристы. Но все это стало понятно, увы, слишком поздно.

Меньшевики и эсеры пытались вытеснить большевиков демократическим путем на последних (седьмых по счету с девятьсот шестого года) многопартийных выборах в местные Советы в марте-мае восемнадцатого. Но свободно избранные Советы были разогнаны ЧК, и это вызвало восстания в Ярославле, Ижевске, Воткинске, Тамбове и десятках других мест. В мае начались грабежи крестьян продотрядами и восстания крестьян против них.

Казаки тоже не хотели воевать, однако вкусив советской власти на Дону, стали на сторону Деникина, чем положили начало успехам белых на Юге России. Но белые проиграли решающую битву под Орлом, получив мощный фланговый удар от Махно, а Пилсудский позволил Ленину снять сорок тысяч войска с польского фронта и бросить их против Деникина.

Ленинцы вышли победителями и во всероссийской Крестьянской войне. Они подавили все восстания, но после этого, по сути, капитулировали, объявив НЭП. Крестьян на шесть лет оставили в покое.

* На Страшном суде они, наверное, будут говорить: «Мы были вынуждены. Знаете, на какое сопротивление материала мы натолкнулись?» А «материал» сопротивлялся, если кто забыл утопию, придуманную в Западной Европе двумя русофобами по имени Маркс и Энгельс. – А.Г.

Новая экономическая политика стала началом конца утопического проекта. Вся дальнейшая история СССР представляла собой череду имитаций продолжения этого проекта (сперва в бесчеловечно жестоких, а затем во все более редуцированных версиях), одновременно с приспособлением власти к наличному народу. Хотя, конечно, и народа к власти, от этого никуда не деться.

Правда, все это можно увидеть лишь обратным зрением – современникам, видевшим события с предельно близкого расстояния, такое редко приходило в голову.

Коллективизация. Сталин не хотел, чтобы советская власть попала в зависимость от богатеющего крестьянства. Это могло бы привести к чему-то вроде горбачевской «перестройки» – на шестьдесят лет раньше. Сталин сказал: *«либо назад – к капитализму, либо вперед – к социализму. Никакого третьего пути нет»*. И возобновил принудительное изъятие зерна.

Крестьяне сопротивлялись: в двадцать восьмом году они убили семьсот коммунистов, в двадцать девятом – почти в два раза больше. И тогда, вместо постепенной коллективизации, предусмотренной первым пятилетним планом, Сталин объявил сплошную коллективизацию и уничтожение кулачества, как класса.

Крестьянское сопротивление – открытое и скрытое – привело к тому, что колхозный проект оказался обреченным с самого начала.

Вторая мировая война. Массовые сдачи в плен первых двух лет войны и власовское движение были, прежде всего, следствием коллективизации.

Уже в начале тридцатых крестьяне, согласно донесениям Особых отделов, говорили, что в будущей войне они советскую власть защищать не будут и перейдут на сторону противника. Ставший залогом победы народный гнев, который обрушился на гитлеровцев во второй половине войны, был в большой мере гневом обманутых надежд.

После войны развернулось повстанческое движение («бандитизм»). Двести тысяч повстанцев было убито, триста сорок тысяч отправлено в лагеря. На Орловщине последний

очаг повстанчества был подавлен в пятьдесят первом году, в Галиции – в пятьдесят четвертом.

В те годы лагеря политзаключенных в Норильске, Воркуте, на Колыме и в Кенгире охватили неслыханные по размаху восстания, не на шутку встревожившие власть и ускорившие перемены. Эти восстания дали толчок к упразднению ГУЛАГа*.

Послесталинский период. Реформы Маленкова, продолженные Хрущевым, при всей своей половинчатости и непоследовательности, были ответом на всеобщее недовольство нищетой и бесправием. Сегодня ясно, что весь сталинский период уровень жизни населения оставался резко ниже до-революционного. В новой обстановке начали возникать подпольные группы, складывалось правозащитное движение. После долгого перерыва в страну стала проникать запретная литература из-за рубежа, эмигрантские издания, сквозь вой глушилок все больше людей слушали радио «Свобода».

Диссидентство. Оно было численно невелико – за тридцать лет после XX съезда КПСС по политическим статьям было осуждено «всего» около восьми тысяч человек. Но оно стало теми дрожжами, на которых взошел Август девяносто первого года. Маленьким зерном в этом движении был Народно-трудовой Союз – за участие в его деятельности осуждено около семидесяти человек – один процент. Но это зерно олицетворяло связь времен: именно члены НТС седьмого октября восьмьдесят восьмого года в Ленинграде на стадионе «Локомотив» первыми подняли трехцветный российский флаг, быстро ставший символом демократических сил.

В этом максимально кратком изложении пяти этапов сопротивления по книге Бориса Пушкарева не упомянуты, разумеется, сотни важных подробностей, не упомянуто и активное противодействие большевизму со стороны эмиграции – в краткой рецензии сделать это невозможно. Советские

* См. Игорь Чубайс, «Великая Отечественная. Когда мы избавимся от ложных мифов, когда напишем свою историю?» №231 ж. «Грани». – *Ред.*

«органы» относились к эмиграции крайне серьезно. Об этом говорят похищения и убийства ее деятелей, взрывы в редакциях эмигрантских изданий.

Значительное внимание в книге уделено международной экспансии советского режима. При Сталине «социалистический лагерь» охватывал двенадцать стран, а три десятка лет спустя – уже тридцать стран и треть населения Земли.

Показательно, что так называемые годы застоя в СССР не были застойными в сфере ракетно-ядерного оружия и технологий. Именно в эти годы советский подводный флот вышел в мировой океан. Но и гражданское строительство было огромно – производство цемента со времени Сталина выросло в четырнадцать раз, нынешняя рукотворная среда обитания России и бывших «республик» СССР создана в основном за последние семь пятилеток (1956–1990).

В книге показано, как без всяких пятилеток росла экономика Финляндии, бывшей части Российской империи. Так, сбор пшеницы с одного гектара в РСФСР вырос за годы советской власти в два раза, а в Финляндии, достаточно северной стране, за тот же период – в три.

Автор уделяет немало внимания и потерям населения. За первые пять лет советской власти погибло двенадцать миллионов человек, в том числе более девяти миллионов от голода и эпидемий, свыше двух миллионов от террора. Коллективизация и вызванный ей голод унесли три миллиона. В результате войны было потеряно двадцать семь миллионов человек. Таким образом, по меньшей мере пятьдесят два миллиона человек умерли неестественной смертью. Если к ним добавить около сорок пять миллионов тех, кто должен был родиться при нормальном демографическом развитии страны, но не родился, дефицит населения за период с семнадцатого по пятьдесят седьмой год окажется близок к ста миллионам человек.

Эти расчеты, приводившиеся в журнале «Посев» тридцать лет тому назад и уточненные в восемьдесят четвертом году, не раз вызывали жаркие споры. После того, как эту же

цифру назвал и Дмитрий Медведев*, она может считаться официальной.

Три четверти века, которым посвящена книга, вместили в себя столько, что для рецензента нет ничего легче, чем вывалить целый короб придилок: почему недостаточно освещен этот вопрос, не упомянут тот, не выявлено пятое, не подчеркнуто десятое?

Скажу о другом. Разбираемый труд – пока единственный в своем роде. Концепцию «двух России», без сомнения, подхватят другие исследователи, она будет воспроизводиться со ссылками на Бориса Пушкарева и без таковых. В общественных науках ни одна новая идея не облекается сразу в отточенные формы. Риторика и аргументация «Двух России» нуждается в дальнейшей разработке – особенно при подготовке учебных пособий для вузов и старших классов школ.

Укажу лишь на одно, но самое важное, на мой взгляд, направление. Новая Россия не могла родиться и не родилась вдруг, она десятилетиями складывалась в оболочке Советского Союза, незаметно замещая его. В минералогии подобный процесс так и называется: метаморфическое замещение. Чтобы по-настоящему понять свою обновленную страну, нам предстоит еще долго изучать этот процесс.

Большевистский утопический проект был обречен по многим причинам, описанным в исследовании автора. Но хватило бы и одной-единственной причины, им почти не затронутой: историческая Россия миллионами ростков и стволов пробилась сквозь щели, поры и трещины утопии, изломала и искрошила ее скверный бетон, не оставив противоестественной постройке ни одного шанса уцелеть.

Коммунисты захватили власть в силу поразительного стечения обстоятельств. Жестокость и резко выраженная авторитарность советского коммунистического способа управления никак не были подготовлены предшествующим развитием России.

Почему же они преобладали несколько десятилетий? Причина лежит на поверхности. Переворот семнадцатого

* Журнал «Экономическая политика», январь 2008, № 1/9.

года резко, поголовно и повсеместно сменил прежнюю просвещенную дворянско-интеллигентскую элиту новой, социально и образовательно отсталой.

Произошел массовый наплыв крестьянской молодежи в города. Биографии подавляющего большинства советских деятелей не зря начинаются словами: «родился в селе N такого-то уезда такой-то губернии». Как выразился публицист Анатолий Салуцкий, *«тысячи Чапаев заняли кресла совдеповских чиновников»*.

Высокая доля вчерашних (или позавчерашних) крестьян была в послереволюционные десятилетия нормой почти в любой аудитории, почти в любом коллективе. Именно они принесли с собой присущее патриархальной крестьянской семье представление об авторитарном Отце, суровом, но справедливом, и об авторитарном управлении как единственно возможном. Они приняли и в массе приветствовали такое управление, ибо сами управляли бы так же. И управляли – кому довелось.

Коммунистическая верхушка, внедряя утопию, всегда остро ощущала чуждость русской культуры своим идеям, отсюда лозунг «организованного упрощения» и «понижения» культуры, с которым выступали видные идеологи большевизма: Н. Бухарин, А. Гастев, М. Левинов и другие. Их главный вождь Ленин выказал редкую зоркость, сказав на XI съезде РКП(б) в двадцать втором году: *«Бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице Российской Федерации и не получилось ли тут так, что четыре тысячи семьсот коммунистов – почти целая дивизия, и все самые лучшие – оказались подчиненными чужой культуре?»*

Насчет «завоевателя» и «чужой культуры» сказано очень точно и откровенно. И провидчески: побежденная (якобы) культура, действительно, победила – только, к сожалению, много позже. История поспешает медленно.

Даже для людей, всем обязанных революции, коммунистическая утопия была чем-то чужеродным, пусть они сами и не решались себе в этом признаться. Загнанное внутрь – у кого внутрь сознания, у кого в пределы кухонного пространства, –

«сопротивление материала» вылилось в формы неосознанного саботажа, превратив все затеи большевистских вождей в пародию и карикатуру на первоначальный замысел. «Сопротивление материала» во всех его формах отменило саму возможность коммунизма.

На протяжении десятилетий коммунисты максимально использовали ресурс авторитарности, но он все быстрее иссякал. Происходило необратимое изменение социальной структуры общества. К восемьдесят третьему году численность интеллигенции – людей с высшим и неоконченным высшим образованием, занимающихся высококвалифицированным, преимущественно умственным трудом – достигла в СССР сорока двух миллионов человек; с семьями это, вероятно, около ста миллионов.

Понятно, что ключевой общественной силой не могли не стать люди, все менее согласные принимать и даже просто терпеть правила поведения, идейные нормы и жизненные стандарты, казавшиеся предыдущим двум-трем поколениям единственно возможными.

Человек коммунистической культуры, несмотря на все усилия, так и не родился. Ушедшая Россия, которую коммунисты считали полностью побежденной, проступала в новых людях все отчетливее.

Утопия не прижилась, мы ее отторгли на тканевом уровне.

Пусть и «испорченные квартирным вопросом», и не только им, мы вышли из коммунистического тоталитаризма сами. А вот смогла ли бы, к примеру, Германия одолеть свой тоталитаризм сама – большой вопрос. Гитлеру, чтобы стать полным хозяином страны, не потребовалась пятилетняя гражданская война и чудовищный, беспримерный террор. За считанные месяцы он радикально изменил Германию при полном восторге ее населения. Германия, если кто забыл, – страна «западной цивилизации».

Описать «тканевое» сопротивление – задача огромной сложности, но и она, можно не сомневаться, будет выполнена. Залогом тому – начало, положенное выдающимся трудом Бориса Пущкарева.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Алексей Пятковский

Воспоминания о Самиздате

Вступление

«В те годы дальние, глухие» моей юности, что совпали с брежневской эпохой, наряду со славными хоккеистами я почитал за своих кумиров и не менее славных и мужественных людей – советских (или, точнее, несоветских и даже антисоветских) диссидентов.

Ежедневно слушая западные «голоса», я хорошо знал фамилии Амальрика, Бегуна, Буковского, Гамсахурдиа, Григоренко, Дудко, Красина, Краснова-Левитина, Марченко, Огурицова, Орлова, Сахарова, Сваринскаса, Стуса, Тихого, Ходоровича, Щаранского, Якира и многих других правозащитников, а также, конечно же, диссидентствующих писателей. Как и многие юноши, разумеется, читал и Самиздат.

Прошли десятилетия. В две тысячи четвертом году директор первой в стране негосударственной исследовательской структуры – основанного в девяностом году Института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов предложил мне поработать в своем институте над темой: «История демократического движения в СССР». В задачи мои вошла запись и подготовка к печати воспоминаний, в том числе участников диссидентского движения шестидесятых-восемидесятых годов.

Он же составил и список вопросов, отталкиваясь от которых, я обычно начинаю свои беседы с независимыми издателями застойных времен.

Итогом моей работы, последняя точка в которой еще не поставлена, стала серия из двух десятков интервью, проведенных с такими легендарными фигурами, как Людмила Алексеева, Александр Есенин-Вольпин, Юлий Ким...

К сожалению, моему институту до сих пор не удалось получить грант на издание фундаментального труда «Антология самиздата» – этого интереснейшего свидетельства эпохи, в силу чего он остается неизвестен широкому кругу заинтересованных читателей.

Сегодня журнал «Грани» публикует фрагменты одного из первых моих интервью, в котором моим собеседником был Александр Даниэль – потомственный диссидент, один из руководителей общества «Мемориал», исследователь самиздата и просто обаятельнейший человек, в которого нельзя не влюбиться.

***Александр Даниэль,
руководитель одного из исследовательских
проектов «Мемориала» – программы
«История инакомыслия в СССР. 1953–1987».***

– Как и когда появился в СССР Самиздат? Как и когда он прекратил свое существование?

Сначала необходимо договориться о терминах. Чтобы говорить о самиздате, надо сначала дать ему определение, причем такое, которое позволило бы очертить его границы внутри общего потока неподцензурной литературы, не растворяя его среди смежных явлений культуры.

Мне кажется, что под словом «самиздат» имеет смысл подразумевать не сам текст, а способ его бытования. Я бы предложил такое определение – увы, не очень операционное: самиздат – это специфический способ бытования обществен-

но значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде. Автор может лишь «запустить текст в самиздат», дальнейшее не в его власти.

При этом одно и то же произведение может быть последовательно фактом домашней, кружковой и самиздатской литературы, может перейти из неподцензурной литературы в «официальную». Не затрагивая лавины перестроечных публикаций, сошлюсь, например, на судьбу русского перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол» или на новоязовские публикации отдельных искандеровских рассказов из цикла «Сандро из Чегема».

Или, наоборот, из подцензурной литературы в неподцензурное распространение: рассказы Солженицына после изъятия их из библиотек или просто самодельные копии малотиражных или не переиздающихся книг.

Правда, предложенное определение не дает возможности установить «начало самиздата». Ведь неподцензурная литература распространяется в списках в течение столетий – по крайней мере столько же, сколько существует сама цензура.

Само слово «самиздат» входит в употребление в середине сороковых годов. Его автором, по-видимому, был московский поэт Николай Глазков, чьи стихи и прозаические миниатюры полуабсурдистского толка были хорошо известны в окололитературной среде, но почти не печатались при его жизни. Глазков придумал такую забавную литературную игру: составлял небольшие машинописные сборники своих стихов и прозы, сшивал их в брошюры форматом в пол-листа и дарил друзьям. А на титуле ставил им самим придуманное слово «самсебяиздат».

На рубеже шестидесятых или несколькими годами ранее термин был подхвачен литературной молодежью, которая усилила его «игровое» звучание, редуцировав его до «самиздат» – уже прямое передразнивание «государственного» наименования – Госиздат.

Впрочем, во второй половине пятидесятых сохранялся еще и старый термин: мне приходилось видеть ранние, конца пятидесятых годов, машинописные сборники Горбаневской, тогда – поэта, входившего в круг Леонида Черткова, помеченные как «самсебяздат».

Собственно, нет ничего нового в том, что автор дарит друзьям копии своих произведений. Игровой момент был именно в оформлении, в пародировании официального книгоиздания, в этом самом словечке «самсебяздат». Вместе с тем, впоследствии именно самиздат в широком смысле слова стал основным способом реализации диссидентской активности, и как основной инструмент правозащитной активности был принят на вооружение всеми без исключения диссидентами.

Мне представляется по мемуаристике и устным воспоминаниям современников, что в сороковых – начале пятидесятых годов в списках ходили почти исключительно стихи. В сталинскую эпоху это был, прежде всего, Гумилев. Позже появились и современные поэты: Слуцкий, Корнилов, Окуджава, Сапгир, Холин, Евтушенко, Ахмадулина.

Рубикон был перейден где-то ближе к концу десятилетия: самиздат освоил прозаические и далеко не всегда беллетристические тексты. Поразительно, но, если не считать письма Раскольникова Сталину, в первую очередь это были переводные тексты: Кестлер, Орвелл, Кафка, «Письмо к заложнику» Сент-Экзюпери, Нобелевская лекция Альбера Камю. Конечно, выбирались произведения, созвучные отечественной проблематике.

К сожалению, мы лишь в редких случаях знаем имена переводчиков. Так, «Тьма в полдень» Кестлера была впервые переведена, если не ошибаюсь, Игорем Голомштоком где-то в пятьдесят восьмом-шестидесятом годах. В сущности, именно они, переводчики, были первыми литераторами, осознанно использовавшими механизм самиздата.

Что касается отечественной прозы, то, как мне кажется, в пятидесятые годы это была проза Платонова, Зощенко и

«Доктор Живаго» Пастернака, который распространялся по стране не столько в машинописи, сколько в виде фотокопий с зарубежных изданий.

Ну, и конечно, особый жанр, который я бы назвал «републикациями самиздата» – произведения, когда-то опубликованные в СССР и не переиздававшиеся в течение десятилетий: письма Короленко Луначарскому, «Несвоевременные мысли» Горького; Пильняк, Замятин, Булгаков и так далее.

В начале шестидесятых самиздат подхватил мемуары Евгении Гинзбург, рассказы Шаламова – причем, явно не в качестве художественной прозы, а как историко-философские произведения; философские эссе Григория Померанца. Сюда же надо отнести и актуальную отечественную публицистику.

Чаще всего это были тексты, осмысляющие феномен сталинизма или дополняющие и расширяющие официально дозволенные разоблачения «культа личности» – классическими примерами таких текстов являются знаменитое «Открытое письмо Эрнста Генри Илье Эренбургу» и одна из самых, по моему, толстых книг в мире – работа Роя Медведева о сталинизме «К суду истории». Последний пример лишний раз показывает, что в шестидесятые годы объем вещи не имел еще решающего значения для того, будет ли она подхвачена самиздатом или нет.

Видимо, где-то в это же время в самиздате начали циркулировать сборники «Вехи», «Из глубины», работы Бердяева и других религиозных философов начала века. Чуть позже самиздат, вероятно, не без участия эмигрантских организаций, включил в себя и откровенно политическую литературу, поступавшую с Запада – Джиласа, Авторханова, программные документы солидаристов. Как и «Доктор Живаго», эти книги распространялись, по преимуществу, в виде фотокопий.

На рубеже шестидесятых-семидесятых годов усиленно распространялась в самиздате исторические документы, например, секретная инструкция ВЧК восемнадцатого года.

– Но, все-таки, как, по-Вашему, был ли самиздат последних советских десятилетий чем-то новым по сравнению с традиционным для русской культуры хождением рукописей в списках? И если был, то когда он обрел это новое качество?

– Да, был. С конца пятидесятих самиздат – это не просто механизм распространения запрещенных или полузапрещенных текстов. Он становится главным инструментом «второй культуры», то есть, культуры, которая не просто реализует себя в обход цензурных ограничений, а вообще игнорирует эти ограничения.

Речь уже идет не о рукописях, отвергнутых цензурой, а о рукописях, изначально не предназначенных для цензуры. Люди начинают «писать в самиздат», как раньше «писали в стол». Иными словами, самиздат становится социально-культурной институцией.

Начало этого процесса я бы датировал пятьдесят девятым годом. Именно тогда молодому журналисту из «Московского комсомольца» Александру Гинзбургу – возможно, не без участия поэта Генриха Сапгира, пришла в голову дерзкая идея выпускать машинописный поэтический сборник, состоящий из произведений разных авторов, по тем или иным причинам не прошедших цензуру либо вовсе не предлагавшихся в печать. Это предприятие разом превратило самиздат – в Самиздат, то есть, в инструмент альтернативной культуры.

Вероятно, Гинзбурга отчасти вдохновляла практика поэтов лианозовского круга, многие из которых время от времени составляли и пускали по рукам собственные сборники. Впрочем, первый же номер «Синтаксиса» – так был назван альманах, состоял отнюдь не только из стихов лианозовцев. Но главное не в этом. Одно дело – авторский сборник, мало чем отличающийся от обычных поэтических подборок тогдашнего самиздата, и совсем другое дело – альманах, да еще и периодический, да еще и с указанием имени составителя на первой странице.

Быть может, сегодня трудно уловить этот нюанс, однако современникам «Синтаксиса» он был абсолютно внятен: издание сборника стало своего рода Декларацией независимости культурного процесса. Внятен он был и госбезопасности: в шестьдесят первом году Гинзбурга, выпустившего уже три номера журнала и готовившего четвертый номер, арестовали, и против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в «антисоветской агитации».

Но пример был показан, и джинн выпущен из бутылки. Необязательность печатного станка для самореализации культуры была продемонстрирована с предельной наглядностью.

Не стану перечислять многочисленные – по большей части, эфемерные самиздатские альманахи и журналы, выпущенные в подтверждение этого тезиса. Упомяну лишь создававшийся в это же время и в этом же кругу сборник «Феникс» – сейчас его обычно называют «Фениксом-61», в отличие от «Феникса-66» – сборника, подготовленного Юрием Галансковым пятью годами позже.

Характерно, на мой взгляд, что в тот период составлением сборников и альманахов занимаются, по преимуществу, маргиналы с площади Маяковского. По-видимому, этот жанр интуитивно ощущается как нечто качественно отличное от обычной самиздатской деятельности, как новый шаг, требующий большей степени независимости от системы.

Уже в пятидесятые годы в самиздате циркулировала не только поэзия и не только художественная проза. Первыми правозащитными текстами в истории советского самиздата и предтечами будущей диссидентской эпохи стали два текста, которые можно отнести к правозащитной тематике, хотя формально они были связаны, как и следует ожидать, с литературой – точнее, с репрессивной реакцией власти на независимую литературу.

Включив в себя эти тексты, самиздат забил колья на территории прежде чуждых ему газетных жанров – публицистики, документалистики, судебного очерка.

Я имею в виду даже не тексты публичных обсуждений разных литературных событий второй половины пятидеся-

тых, вроде выступления Паустовского на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым». Я имею в виду тексты, высекавшиеся из столкновений между литературой и политическим преследованием, политической репрессией.

Это, прежде всего, два текста – запись общего собрания московских писателей осенью пятьдесят восьмого года, где шельмовали Пастернака, и, конечно же, запись процесса шестьдесят четвертого года над Бродским, сделанная Фридой Вигдоровой.

Насколько мне известно, запись пятьдесят восьмого года велась официально, в самиздат она попала в результате утечки из Союза писателей – вот бы узнать, кто и зачем уволок из Секретариата эту запись и запустил ее в самиздат!

А вот Фрида Вигдорова уже вела свои записи как «частное лицо». И не столь существенно, делала ли она это, заранее предполагая пустить их в самиздат, или она всего лишь намеревалась использовать их как подсобный материал в дальнейших ходатайствах за осужденного поэта.

Важно другое. Запись суда, сделанная Вигдоровой, в тысячах экземпляров распространилась по стране, а сама Вигдорова вольно или невольно стала основоположником нового самиздатского жанра – правозащитного документа. Более того, ее записи задали формат всей будущей деятельности советских правозащитников. Ибо в чем, в сущности, состояла правозащитная активность диссидентов, если не в документировании произвола и последующем предании его гласности?

Автор мог, например, передать документ или «открытое письмо» за рубеж в надежде, что его опубликует какая-нибудь западная газета или что «Голос Америки» и «Свобода» озвучат этот текст в своих передачах. Автор мог передать его в Московскую Хельсинкскую группу или в «Хронику текущих событий» в качестве информации о каком-то происшествии.

Московская Хельсинкская группа на базе этого письма составит собственный документ, а в «Хронике текущих событий» появится короткое информационное сообщение. Но никому и в голову не придет перепечатать его и пускать по

рукам. И что это тогда за самиздат, который никто ни разу не перепечатал?

Поймите меня правильно: это очень ценные тексты, они имеют двоякую ценность. Во-первых, как свидетельства о преследованиях, о нарушении прав человека в СССР, свидетельства, содержащие конкретные даты, имена, факты.

А во-вторых, как свидетельства сопротивления режиму: ведь само написание и отсылка такого письма – это уже акт Сопротивления!

Но к самиздату все это не имеет никакого отношения. В данном случае я предпочел бы не называть такие тексты «самиздатскими»; я бы определил их каким-нибудь более нейтральным термином. Давайте назовем их, например, просто «документами диссидентского движения». Далеко не все документы диссидентского движения являются событиями самиздата.

Какие же тексты, связанные с правозащитным движением, будут все-таки, с моей точки зрения, текстами самиздата? Давайте взглянем на то, как развивалось само это движение после шестьдесят четвертого года, после процесса Бродского.

Ход событий хорошо известен. В шестьдесят шестом году, на процессе Синявского и Даниэля – опять литературная тематика! – жены подсудимых уже вполне целенаправленно записывали ход судебных заседаний, осознанно следуя примеру Вигдоровой. А Александр Гинзбург – вечный изобретатель новых технологий для независимых общественных инициатив – составляя в конце шестьдесят шестого года «Белую книгу» – самиздатский документальный сборник об этом деле, прямо обозначил своего предшественника, поставив на титульном листе посвящение: «Памяти Фриды Вигдоровой».

Подобные документальные сборники стали очень заметным и значимым явлением в самиздатском потоке диссидентского периода. Вскоре после «Белой книги» появилось сразу несколько таких сборников: «Дело о демонстрации января тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года» Павла Литвинова, его же «Процесс четырех», «Полдень» Натальи

Горбаневской, сборник «Четырнадцать последних слов», составленный Юлиусом Телесиным в семидесятом году, и некоторые другие.

Чуть позднее, к середине семидесятых, самиздатские альманахи вышли за рамки чисто правозащитной тематики, стали появляться философско-религиозные и общественно-политические сборники, такие как «Из-под глыб» и «Жить не по лжи». Можно отметить еще неудавшуюся попытку собрать альтернативный «Глыбам» сборник под условным названием «Через топь».

Впрочем, первой ласточкой такого рода был, по-видимому, все же галансковский «Феникс-66», часть материалов которого носила даже беллетристический характер. Во всяком случае, библиография самиздатских журналов будет, несомненно, насчитывать многие десятки наименований.

Ясно, что эта тенденция не могла не привести к возникновению уже откровенно повременных изданий – «толстых» и «тонких» самиздатских журналов. За пределами изящной словесности пионером самиздатской журналистики, был, по-видимому, Рой Медведев, выпускавший с шестьдесят пятого и по начало семидесятых годов машинописные журналы «Политический дневник» и «XX век», имевшие, впрочем, довольно ограниченное хождение. Когда я говорю о Медведеве как пионере этого рода журналистики я, разумеется, имею в виду только те издания, которые имели хоть какой-нибудь общественный резонанс.

В этот же период в самиздате возникло еще несколько «толстых» журналов, например, «Вече» и «Евреи в СССР».

Но настоящий «журнальный бум» случился во второй половине семидесятых. Подробный разговор об этом важнейшем этапе развития самиздатской периодики занял бы слишком много времени и места. Отмечу только, что центрами самиздатской журналистики стали Ленинград, Москва, Прибалтика – по преимуществу, Литва; Украина. Несколько попыток издания журналов были предприняты в Грузии и Армении.

Отсюда вытекает простой и вполне операционный критерий: аналогом «публикации» в самиздате правозащитного или иного общественно-политического текста может считаться появление его в том или ином самиздатском периодическом издании или сборнике, «самиздатность» которых сомнения, как правило, не вызывает.

Конечно, этот критерий, говоря математическим языком, достаточный, но не необходимый. Найдутся и такие диссидентские документы – особенно второй половины шестидесятых – начала семидесятых годов, которые имели самостоятельное самиздатское хождение, но, тем не менее, ни в какие сборники не вошли.

С другой стороны, некоторые поздние повременные издания – например, исторический сборник «Память» – ходили в рукописи в весьма ограниченном круге читателей, и их распространение шло, в основном, за счет издания зарубежом и последующего нелегального ввоза «тамиздатных» экземпляров в Союз.

Однако за основу для составления библиографического справочника этот принцип, думается, можно было бы принять. Я только хотел бы ещё раз подчеркнуть, что я предлагаю его не для всякого самиздата, а для самиздата общественно-политического содержания, порожденного правозащитным движением после его консолидации в шестьдесят восьмом году.

Потому что, во-первых, для общественно-политических неподцензурных текстов более раннего времени не требовалось включения ни в какие конволюты. Примеров тьма. Назову только два – открытое письмо Эрнста Генри Илье Эренбургу и не менее знаменитая запись обсуждения книги Александра Некрича «22 июня 1941 года» в Институте истории АН СССР.

А, во-вторых, литературный, художественный самиздат и после шестьдесят восьмого года не требовал этого включения и продолжал существовать в своей традиционной форме: по-прежнему самиздатскому распространению подвергались отдельные произведения: романы, рассказы, пьесы, стихи и прочее.

Впрочем, в некоторых общественно-политических самиздатских альманахах и повременных изданиях – например, в «Поисках» – печатались и произведения беллетристические, литературные. Но собственно литературных изданий, таких как московские «Метрополь» и «Каталог» или некоторые ленинградские журналы, было не так уж много. Поэтому мой критерий годится только для «правозащитного» и иного «общественно-политического» самиздата.

И дело Бродского, и первая публичная петиционная кампания, возникшая вокруг дела Синявского и Даниэля, показали, что самиздат – прекрасный инструмент не только для реализации творческой свободы литераторов, философов и историков, но и для выражения гражданского протеста.

Вторая петиционная кампания шестьдесят седьмого-шестьдесят восьмого годов, толчком к которой стало дело Гинзбурга и Галанскова, уже включает в себя такие общественно значимые вопросы, как практика политических репрессий.

Осенью шестьдесят седьмого в самиздате появилась книга Анатолия Марченко «Мои показания» – первое документальное свидетельство о современных политических лагерях, гонения на свободу совести – к активистам правозащитной борьбы присоединились «диссиденты от православия», протестовавшие против вмешательства государства в дела Церкви; некоторые национальные проблемы – с московскими правозащитниками установили постоянный контакт лидеры движения крымских татар за возвращение на родину.

Все это привело к возникновению «Хроники текущих событий» – машинописного информационного бюллетеня правозащитников и, по совместительству, первой и единственной газеты самиздата. Кстати, именно тогда, к семидесятым годам, слово «Самиздат» стали писать с большой буквы. День выхода первого выпуска «Хроники» можно считать и датой окончательного оформления правозащитного движения в СССР.

Какая при этом может быть «хроника»? Какие «события»? Что на что повлияло: название бюллетеня на мироощущение

правозащитников или, наоборот, выбор названия был обусловлен наметившимся сдвигом в мироощущении?

Честно говоря, не знаю. Как бы то ни было, «Хроника» создала ось времени, вокруг которой выстраиваются дальнейшие события советского диссента, переосмыслила каждый данный акт Сопротивления как момент истории диссидентов, сформировала представление – скорее всего, ложное о диссидентском движении.

Косвенным указанием здесь может служить история названия бюллетеня, его переосмысления. Составители, по-видимому, первоначально считали его названием первую строчку титульного листа – «Год прав человека в Советском Союзе».

Слова «Хроника текущих событий», стоявшие на титульном листе бюллетеня и имевшие своим очевидным источником одну из рубрик радиопередач Би-Би-Си на русском языке, были задуманы, как подзаголовок, указывающий на жанр издания.

Читательское восприятие, однако, внесло коррективы в замысел издателей: иначе, как «Хроникой» новое издание не называли, а первая строчка титульного листа прочитывалась ими как нечто вроде девиза. Забавно, что когда шестьдесят восьмой год, объявленный ООН Годом прав человека, истек, то составитель, уже именовавший свой бюллетень, как и все, «Хроникой текущих событий», вынес на титульный лист шестого выпуска новый девиз, буквально пропитанный пафосом безвременья: «Год прав человека в Советском Союзе продолжается»!

Этот девиз сохранялся в течение всего шестьдесят девятого года и лишь в двенадцатом выпуске, датированном двадцать восьмым февраля семидесятого года, был заменен на: «Движение в защиту прав человека в Советском Союзе продолжается».

Можно маленькое личное отступление?

Я хорошо помню, как в период приостановки выхода «Хроники текущих событий» в семьдесят третьем году у меня и у моих друзей возникло чисто физическое чувство

возвращения в безвременье. Это чувство, разделенное не только кругом моего личного общения, сыграло, возможно, некоторую роль в возобновлении издания в будущем году. При этом до «перерыва» все мы были достаточно далеки от непосредственного участия в выпуске бюллетеня и не очень регулярно читали выходившие номера. Нам было достаточно знать, что «Хроника» – есть.

Кроме обретения временной перспективы, правозащитное движение обязано «Хронике текущих событий» первыми шагами в обретении внутренней структуры. Вновь подтвердилась правота Ленина, который, в связи, правда, с другой подпольной газетой, произнес формулу «не только» – добавлю от себя – и не столько «коллективный агитатор и коллективный пропагандист», но и «коллективный организатор».

Образовавшаяся вокруг «Хроники» система ветвящихся цепочек, построенных первоначально на личных знакомствах, и была, по всей видимости, первой «протоструктурой» диссидентского сообщества. Крайне важно, что эта система цепочек, первоначально ограниченная несколькими крупными городами: Москва, Ленинград, Киев, Новосибирск, Рига, Таллин, Вильнюс, Горький, Одесса, – довольно быстро охватила все крупные города страны. Ведь каждое новое географическое название, появлявшееся в бюллетене, как правило, означало нового корреспондента.

И, наконец, «Хроника» структурировала пространство советского диссента, если так можно выразиться, тематически. В первых выпусках бюллетеня присутствовало всего несколько тем. Прежде всего, это отчеты о разного рода репрессиях, связанных с громкими политическими процессами конца шестидесятых и, прямо или косвенно, восходящих к описанному выше «литературоцентричному» Сопротивлению предыдущих лет – делу Гинзбурга и Галанскова и тому прочее.

Правозащитное движение, так, как его представляла «Хроника», сохраняло отчетливую память о своем происхождении. К этой же традиционной сфере интересов советской

интеллигенции относился и библиографический раздел бюллетеня – «Новости Самиздата».

Но в первый же номер «Хроники» попали и материалы движения одного из «наказанных народов», а именно крымских татар, уже более десяти лет боровшихся за право вернуться в родные места, откуда их выслали в сорок четвертом году. Почему изо всех национальных проблем в поле зрения «Хроники» в первую очередь попали именно крымско-татарские, а не, скажем, армянские или месхетинские проблемы (совсем уж аналогичные крымско-татарским)?

Прежде всего, в силу ряда субъективных обстоятельств: в кругу московских правозащитников оказались люди, которые к шестидесят седьмому году уже в течение ряда лет боролись именно за права крымских татар.

Но и не только поэтому: крымско-татарская проблематика, в отличие от литовской или армянской, легко излагалась в терминах права вообще и прав человека, в частности. Кроме того, возможно, в силу именно этого обстоятельства, методы борьбы крымских татар были изначально близки столичным правозащитникам, так как включали петиции, самиздатские информационные листки.

Возможно даже, что при создании московской «Хроники» крымско-татарские информации являлись неким образцом, прототипом издания. А, например, в армянском или литовском национальном движении в этот период еще превалировали подпольные и к тому же политически и национально маркированные формы протеста.

Соответственно, информация «Хроники» о происходящем в Литве или Армении стала постоянной и достоверной лишь в семидесятые годы, когда тамошние диссиденты – очевидно, уже ориентируясь на опыт российских правозащитников – взяли на вооружение если не правозащитную идеологию, то, по крайней мере, правозащитную фразеологию.

Тогда же в среде украинских диссидентов зародился аналог московской «Хроники» – «Украинский вестник», а чуть позже литовские католики начали выпускать свой информа-

ционный бюллетень – «Хронику Литовской Католической Церкви». Позднее, уже в конце семидесятых, стал выходить «Бюллетень комиссии по расследованию случаев злоупотребления психиатрией» и ряд других.

И по жанру, и по самому своему смыслу эти бюллетени, равно как и более ранний – «Бюллетень Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов», были не чем иным, как самиздатскими газетами, и они стали важным дополнительным источником информации для московской «Хроники».

Неважно, что интервалы между выпусками составляли от полутора-двух месяцев до полугода. Характер и формы подачи материала, стилевые и интонационные черты, способы сбора информации и распространения тиража – все это сближает перечисленные бюллетени с такой, например, газетой, как герценовский «Колокол».

Только «Колокол» печатался типографским способом в Лондоне и нелегально ввозился в страну в готовом виде, а тиражирование правозащитных изданий происходило, до поры до времени, в соответствии с самиздатской традицией, самопроизвольно и рассредоточенно, по ходу распространения, самими читателями.

Другой, столь же важный источник информации о «партикулярных» диссидентских движениях обеспечивался карательной политикой государства: до семьдесят второго года Мордовские лагеря и Владимирская тюрьма оставались единственными местами, куда отправляли осужденных за «особо опасные государственные преступления». Затем к ним прибавились Скальнинские, или Пермские, лагеря.

Тему политлагерей и политзаключенных интеллигентная публика открыла для себя во второй половине шестидесятых годов, после суда над Синявским и Даниэлем, а книга Анатолия Марченко «Мои показания» прочно включила ее в общественное сознание.

В первом же выпуске возникает раздел, посвященный политзаключенным. Вскоре некоторым из читателей лагерных

писем Даниэля, мемуаров Марченко и выпусков «Хроники» пришлось познакомиться с этой темой непосредственно.

К началу семидесятых политические лагеря стали чем-то вроде форума различных диссидентских движений: политзаключенные из числа правозащитников встречались там с националистами, религиозными активистами, подпольщиками и так далее.

Ход обоих процессов и корреляцию между ними легко проследить все по той же «Хронике».

«Тамиздат» – термин, пародийно повторяющий слово «самиздат», которое, напомним, в свою очередь пародировало официальное «Госиздат» – это, в советском словоупотреблении семидесятых годов, тексты, опубликованные в зарубежных издательствах и нелегально ввезенные в СССР.

«Тамиздат» как явление возник еще в середине пятидесятых годов. Первыми известными миру советскими «тамиздатчиками» стали Б. Пастернак, А. Синаевский, Ю. Даниэль, А. Есенин-Вольпин, М. Нарича, Е. Евтушенко, В. Тарсис. На рубеже десятилетий переход произведения из самиздата в тамиздат становится уже типичным.

Но настоящее распространение это явление получает лишь в семидесятые годы, когда, невзирая на недовольство властей, принимавшее самые разнообразные формы – но, после скандального процесса Синаевского и Даниэля, почти никогда не доходившее до уголовного преследования, – значительная часть литераторов, даже из числа принадлежащих к советскому культурному истеблишменту, принялась отправлять свои рукописи на Запад.

При этом ряд авторов – Солженицын и другие писатели, не желавшие откровенно ссориться с советской властью, ранние диссиденты – именно так объясняли публикацию своих текстов за рубежом. Насколько эти декларации были искренними и соответствовали ли они реальности, то есть, в какой степени утечка рукописей происходила, действительно, вне ведома и контроля их авторов, – другой вопрос.

К середине семидесятых правилом становится и противоположное направление дрейфа – из тамиздата в самиздат – чаще всего, в виде фотокопий. Еще позднее, когда каналы возвращения текстов в страну стали относительно хорошо отлаженными, размножение их самими читателями перестало быть необходимостью, во всяком случае, в Москве и Ленинграде.

Сказанное касается и диссидентской, в частности, правозащитной литературы. Даже «Хроника текущих событий», начиная примерно с пятидесятого – пятьдесят пятого выпусков приходила к читателю в основном, в виде нью-йоркского переиздания или через зарубежное радиовещание на русском языке. Что же касается большинства других диссидентских текстов, то их хождение и «саморазмножение» к концу семидесятых было настолько незначительным, что говорить о них как о произведениях самиздата – а не как о «кружковой литературе» можно лишь с весьма серьезными оговорками.

Можно сказать, что этот сектор «серой зоны» был обществом отвоёван. Но, принимая во внимание все возрастающую ветхость «железного занавеса» – к этому времени во многих слоях советского общества уже возникли достаточно систематические неофициальные контакты с западным миром, – это завоевание нанесло колоссальный удар по традиционному самиздату, в результате чего он становится неконкурентоспособен.

Зарубежные типографские станки оказываются определенно предпочтительнее громоздкого и опасного машинописного размножения, – предпочтительнее и для читателей, и для авторов.

Ранее бесцензурные тексты попадали из СССР на Запад из самиздата – или, по крайней мере, так считалось, теперь же самиздатская стадия рассматривается как промежуточная и необязательная. Именно об этом свидетельствует серия заявлений, в которых кто-то «берет на себя ответственность за распространение» того или иного текста.

Это не только заявление Великановой, Ковалева и Ходорович в семьдесят четвертом году о взятии на себя ответственности за возобновление «Хроники». Это, например, почти

одновременные заявления Барабанова, Суперфина и Боннэр о том, что именно он (она) передал(а) за рубеж «Дневники» – написанные задним числом мемуары Эдуарда Кузнецова о следствии, суде, пребывании в камере смертников.

Процесс перехода от самиздата к «тамиздату» распространился на все жанры: гуманитарные исследования, эссеистику, публицистику, правозащитные материалы.

Романтический век бесцензурной литературы закончился. Начался закат самиздата.

И последнее, чего я хотел бы коснуться – это вопрос о временных рамках самиздата. Что касается нижней границы, то, как я уже сказал, принципиальной разницы между самиздатом пушкинской и хрущевской эпохи, в общем, нет.

Хотя, конечно, распространение запрещенной литературы в списках смогло стать значимым общественным явлением лишь с вхождением в быт пишущих машинок. В конце восьмидесятых один огоньковский журналист несколько патетически, но по существу правильно, предлагал поставить на московской площади памятник пишущей машинке. Появление пишущих машинок в личном владении стало для свободы мысли тем же, чем изобретение Гуттенберга для культуры в целом – это понятно.

А вот вопрос о верхней границе уже несколько сложнее. Ясно, что исчезновение самиздата не могло произойти позже, чем летом девяностого года, когда в Союзе была отменена цензура как государственный институт. Однако самиздат – в нашем понимании этого слова – исчез, несомненно, раньше.

Когда же: в восемьдесят седьмом году – с началом перестройки? В начале восьмидесятых – с усилением репрессий? Я полагаю, что упадок самиздатской деятельности наступил значительно раньше, в конце семидесятых годов, и был связан не с репрессиями, а наоборот, с появлением новых альтернативных самиздату возможностей, в первую очередь «тамиздата».

Я категорически не отношу к самиздату неподцензурные издания «неформалов» времен перестройки, типа «Хроно-

графа», общие тиражи которых исчислялись миллионами экземпляров, и которые библиограф Суетнов называет «новым самиздатом». Мне кажется, это уже совсем другой вид неподцензурной литературы.

– А существовал ли «рынок самиздата»? Ведь спрос всегда рождает предложение, и если существовал спрос на самиздат, то должно было возникнуть и предложение?

– Так ведь механизм самиздата именно в том, что спрос и предложение в нем неразделимы. Поэтому предложение принципиально не может превышать спрос. Самиздатский механизм в том и состоит, что предложение всегда адекватно спросу.

Я как-то обсуждал с одним специалистом по истории книги вопрос о тиражах самиздата, и он очень точно заметил, что применительно к самиздату нельзя говорить о тиражах. Каждая новая машинописная «закладка» текста – это переиздание. Поэтому тираж всегда один – четыре экземпляра или восемь, если на тонкой бумаге, или, если на совсем тонкой, так можно было и двенадцать сделать. Вот и все.

Попытки «рыночных» тиражей существовали, но они были, как мне кажется, маргинальными по отношению к основному механизму. Однажды, году примерно в семьдесят первом, два народных умельца соорудили из какого-то хлама подобие печатающего устройства типа ротапринта или ротатора. И начали на нем шлепать один за другим экземпляры «Хроники текущих событий» – восемнадцатый, кажется, выпуск. И нашлепали тысячи две, наверное. А потом не знали, куда девать этот выпуск, разве что вместо обоев поклеить. Не было такого спроса.

– Напомню о том, что мы говорим о временах «классического» самиздата, а не о конце восьмидесятых...

– Да, я говорю о пятидесятых – первой половине восьмидесятых. А вот во второй половине восьмидесятых рынок

уже, наверное, возникал. Но до этого, если он и существовал, то был довольно слабо развит.

– Ну а что можно сказать о коммерческой стороне дела? Изготовление самиздата как коммерческое предприятие, продажа самиздатской литературы – это ведь бывало? По-моему, в приговорах у кого-то из диссидентов присутствовали обвинения в торговле самиздатом...

– Обвинения в торговле самиздатом за деньги бывали. Было, например, калужское дело о распространении религиозного самиздата восемьдесят второго, по-моему, года. Тогда даже обвинение было предъявлено не в «антисоветской пропаганде», а в «занятиях запрещенным промыслом».

А самый крупный эпизод торговли самиздатом – точнее, тамиздатом, о котором я знаю, относится еще к семьдесят четвертому году, когда Звиад Гамсахурдиа с Мерабом Костава буквально чемоданами привозили в Москву «Архипелаг ГУ-ЛАГ» – маленькие такие желтые томики почти карманного формата, что-то вроде копий зарубежного издания ИМКА-Пресс, выполненных на каком-то множительном устройстве и переплетенных, кажется, в клеенчатую обложку.

Они продавали эти томики, как сейчас помню, по двадцать рублей штука – тогда это были большие деньги. И продали, наверное, несколько тысяч экземпляров.

Звиад Константинович говорил, что создал в Грузии подпольную типографию и что он продает эти книги только для того, чтобы окупить расходы на издание (или копирование и переплетные работы?), и что цена равна себестоимости экземпляра.

Я, грешным делом, думаю, что насчет «подпольной типографии» Гамсахурдиа присочинял. Просто сунул деньги каким-нибудь работникам какого-нибудь вполне официально-го учреждения, где была копировальная техника, которая и напечатала большой тираж.

Но насчет отсутствия прибыли – склонен верить. Так что это, скорее всего, тоже не совсем коммерческое предприятие

было. Да и вообще, все это предприятие относилось ведь не к самиздату, а к «тамиздату».

Припоминаю еще уголовное дело крупного чиновника шереметьевской, по-моему, таможни, который конфисковывал у иностранцев и советских граждан запрещенную литературу, которую они пытались ввезти в СССР, – а потом продавал эти конфискованные книжки на черном рынке. Вот у кого не было проблем с себестоимостью! Но можно ли это назвать «коммерческим предприятием»? Сомневаюсь. Кроме того, дело опять-таки уже идет о «тамиздате».

Еще я слышал о том, что рыночные отношения возникали в некоторых секторах самиздата, с которыми я мало сталкивался – в фан-клубах, например, где продавали и покупали всякую научную фантастику.

– Я сам в восьмидесятые годы был участником рынка «самиздата» для коллекционеров – на этом рынке предлагались ксерокопии зарубежных или до- и послереволюционных российских филателистических, нумизматических и бонистических каталогов, участвовал в изготовлении такого «самиздата»...

– Но в целом, мне кажется, что в самиздатском процессе коммерция почти отсутствовала. А вот в новой неподцензурной литературе второй половины восьмидесятых уже всюду появляются денежные отношения. И понятно почему: как только роли «издателя» и «читателя/потребителя» в процессе тиражирования и распространения литературы отделяются друг от друга, между ними возникает пространство для коммерческих отношений.

А когда человек делает тираж для себя и для своих друзей – а самиздат на этом основан – на личных цепочках, личных связях, то рынок, основанный на деньгах, не может сформироваться. Во всяком случае, в той среде, где я крутился, это делалось, как правило, задаром. Иногда только люди скидывались для того, чтобы заплатить машинистке или сделать ксерокопию.

– Тогда, наверное, еще не было ксерокса...

– «ЭРА» была, да и ксероксы первые уже появились в конце семидесятых.

– А Вы вообще считаете, что самиздат – это только машинопись?

– Я так понимаю, что самиздат в привычном понимании этого слова возникает с того момента, когда пишущая машинка становится предметом обихода. До этого тоже был в некотором смысле самиздат. Например, переписывали от руки стихи. Но много ведь не перепишешь. Поэтому как социально значимое явление Самиздат возникает не раньше, чем когда в личном пользовании массово начинают появляться пишущие машинки, то есть, не раньше, чем в начале пятидесятих.

Несколько лет назад мы толковали об этом с Суперфином, крупнейшим историком самиздата, работающим с коллекцией Института изучения Восточной Европы при Бременском университете. Это, по моим оценкам, третья в мире по объему коллекция советского самиздата. Первая – архив самиздата Радио «Свобода» – хранится сейчас в Центрально-Европейском университете в Будапеште, а вторая – у нас, в «Мемориале».

Но позднее, уже к концу пятидесятих, самиздатское пространство литературы, конечно, пишущей машинкой не ограничивалось. Прежде всего, конечно, делались фотокопии запрещенных книг, изданных до революции или в двадцатые годы, или же за рубежом. Это, как я уже говорил, Джилас, Авторханов, Конквест, «Доктор Живаго» и так далее.

Спросите у Игрунова: в его с Петей Бутовым «подпольной публичной библиотеке», которую они организовали в Одессе в первой половине семидесятых, в основном, кажется, были именно фото пленки и микрофильмы. Такое компактное хранение удобно, особенно для объемных текстов. Припоминаю, что у Игрунова был даже некий знакомый, который в своей

фотолаборатории, в Симферополе, кажется, специально готовил для него эти фотопленки и микрофильмы.

Но фотоспособ – тоже не единственный. Я, например, среди ходивших по рукам непропущенных в печать произведений братьев Стругацких видел не только фотокопии, в том числе, в таком например, замечательном варианте, как фотокопия с верстки повести «Гадкие лебеди»! – но и распечатки на автоматическом цифровом печатающем устройстве.

Это – не принтеры к нынешним персональным компьютерам, а периферийные печатающие устройства к таким большим электронным машинам, работающим с перфокарт или перфолент, или магнитных носителей – лент или дисков. Ну, диски – вещь подотчетная, а вот уже магнитные ленты – не очень. Получается очень удобно: никто же не видит простым глазом, что у тебя там на бобине хранится – данные для расчетов какой-нибудь АСУ или «Москва-Петушки» Венечки Ерофеева.

Пришел, поставил ленту на лентопротяжку, улучил момент, когда в машинном зале все свои, запустил программу – и пошел печататься текст. Вылезает широкая такая бесконечная бумажная лента, сантиметров пятьдесят шириной, а на ней – «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева. Очень колоритная форма самиздата.

А еще замечательную своей ненаказуемостью форму распространения самиздата изобрел Лев Николаевич Гумилев. Он в начале семидесятых годов был необыкновенно популярным автором у московской интеллигенции, его авантюрно-этнологическими трудами, которые ему удавалось каким-то образом пробивать через цензуру, зачитывались до дыр.

Но вот главная его книга – «Этногенез биосферы Земли» – в силу своей совсем уж немарксистской методологии, точно не могла быть напечатана. И если бы он пустил ее в самиздат, то, несмотря на ее объем и, между нами говоря, довольно-таки занудное содержание, самиздат бы ее наверняка подхватил, – ведь Гумилев был в моде.

Но Лев Николаевич хитрый был человек и битый и поступил по другому: депонировал ее в качестве рукописи в

ВИНИТИ. Дальнейшее понятно: согласно статусу хранения депонированных рукописей, всякий, кто хочет получить копию этой рукописи, может заказать ее за деньги. Деньги, правда, немаленькие – тридцать рублей, дороже солженицынского «Архипелага». Я хорошо помню, что, когда нам с приятелями захотелось иметь эту книжку, мы устроили складчину – скинулись по червонцу на троих.

– *Я встречал указание на то, что какая-то неизданная книга Гумилева разошлась тиражом в двадцать тысяч экземпляров...*

– Очень может быть.

Вообще, кажется, в семидесятые годы существовали, скорее всего, по недосмотру, всего два способа официального размножения нелитованных текстов. Все остальное, вплоть до афиш, подлежало литованию.

– *Один способ Вы описали – депонирование рукописи в ВИНТИ. А второй?*

– Мосгорсправка. Помните, были такие застекленные щиты на улицах? А в Телеграфном переулке была контора этой самой Мосгорсправки. Вы приносите туда текст своего объявления. Например, «готовлю к экзамену по литературе в ВУЗ по умеренной цене». Нужно вам количество экземпляров указываете на каких именно досках это объявление следует разместить – у каждой городской доски – свой номер. И потом бабуси, работающие в этой конторе, сами идут по указанным адресам и расклеивают ваш текст на соответствующих досках. За небольшие деньги. И ни через какой Главлит, ни через какую цензуру этот текст не проходит.

Так что теоретически можно было прийти в эту контору с ворохом листовок «Долой советскую власть!» и попросить расклеить их там-то и там-то. Правда, насколько я знаю, никто такой эксперимент почему-то не проводил.

Коротко об авторах

Г о р я н и н Александр Борисович. Журналист, писатель, историк.

Родился в 1941 году в Ташкенте. Окончил географический факультет Ташкентского государственного университета и аспирантуру, работал там же, затем во Всесоюзном агентстве по авторским правам старшим научным сотрудником ВГБИЛ.

Участник ряда изданий «Советской энциклопедии» и ИНИОНа. В 1972–1986 годах сотрудничал с журналом «А–Я» (Париж).

В 1983 году передал на Запад рукопись «Разрушение Храма Христа Спасителя» (книга вышла в сокращенном виде и под псевдонимом в издательстве «Overse as Publikations» в Лондоне в 1988 г.).

Автор книг «Традиции свободы и собственности в России» (2007), «Оптимистическое россиеведение» (2008), «Преображение России» (2008) и других.

Печатался в «Литературной газете», «Новом мире», «Звезде», «Посеве» и т. д. В 1992–1994 годах – обозреватель газеты «Век».

Перевел несколько романов с английского. Постоянный автор газеты «Русская мысль» и Радио «Свобода».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№№ 187–190, 194, 196) опубликованы главы из книги публицистики «Мифы о России и дух нации», в № 191 в рубрике «Писатель и время» – литературное эссе «Как первую любовь...», посвященное столетию Владимира Набокова; в № 193 – «Большой покер 1941 года».

Д а н и э л ь Александр Юльевич родился в Москве в 1951 году.

В 1978 закончил математический факультет Московского Государственного Педагогического института.

В 1970 и первой половине 1980 неофициально занимался информационной работой в правозащитном движении, а также проблемами советской истории: в 1973–1980 участвовал в выпуске самиздатского информационного бюллетеня советских правозащитников «Хроника текущих событий», а в 1975–1981 неподцензурного исторического сборника «Память», посвященного проблемам советской истории и издававшегося за рубежом.

С 1989 – член Рабочей Коллегии (Правления) Общества «Мемориал». Принимает участие в ряде исследовательских и публикаторских проектов «Мемориала». С 1990 – руководитель исследовательской программы по теме «История инакомыслия в СССР. 1950–1980 гг.».

Автор двух десятков статей, посвященных истории становления и развития независимой общественной активности в СССР, а также состоянию исторической памяти в современной России, опубликованных в различных российских и зарубежных научных сборниках и периодических изданиях, учебно-методических пособиях и энциклопедиях.

Участвовал в подготовке ряда книг и брошюр, выпускавшихся «Мемориалом» и издательством «Звенья».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Д и м и т р о в Эмил – литературовед, философ, переводчик, поэт. Родился в 1961 году в городе Перник (Болгария).

В 1979 году окончил школу в Софии с преподаванием на русском языке. Образование – высшее – философия, Софийский университет (1985) и аспирантура по философии (1989).

Основатель издательства «Славика».

Печатался в Болгарии, Венгрии и России: «Новый мир», «Литературная газета», «Независимая газета».

С 2004 года работает в Институте литературы Болгарской Академии Наук.

В последние годы занимается архивными изысканиями и исследованиями. Автор более двухсот работ, посвященных русской и болгарской культуре XIX–XX веков.

Живет в Софии (Болгария).

В ГРАНЯХ печатается впервые.

З а в а д о в с к а я Светлана Юрьевна родилась в Багдаде в 1935 году. Детство провела во Франции, жила с отцом, дипломатом, в Египте и странах Ближнего Востока.

Во время Второй мировой войны оказалась с родителями в оккупированной немцами Франции.

В Россию семья вернулась после смерти Сталина.

С.З. окончила филологический факультет Государственного университета в Ташкенте, преподавала французский язык в университете и в Институте Иностранных языков имени Мориса Тореза в Москве в течение двадцати двух лет.

Кандидат филологических наук, доцент, специалист по французской литературе и филологии.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

И в а н о в Всеволод Вячеславович (1895–1963).

Родился в семье учителя. Юность прошла в Западной Сибири.

Первые литературные публикации с 1915 года.

Первый и самый значительный из послереволюционных литературных журналов «Красная новь» открывался в 1922 году повестью В. И. «Партизаны». В нем же была напечатана самая известная партизанская повесть «Бронепоезд 14-69», произведение, получившее большую известность.

Во время Второй мировой войны, будучи фронтовым корреспондентом газеты «Известия», дошел до Берлина.

В последние годы сталинского периода публиковал произведения, находившиеся в стороне от актуальной проблематики.

Существенная часть его творчества – романы, повести и рассказы оставались неопубликованными.

Часть его ранних произведений была переиздана в СССР, другие – на Западе. Часть неизданного наследия сохранилась в архиве его вдовы Т. Ивановой.

Кузнецов Виктор Владимирович родился в 1942 году в Узбекистане, жил и учился в Казани, работал в Якутии и на полуострове Мангышлак. Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики нефтяного пласта ОАО «ВНИИнефть».

Член Союза писателей Москвы с 1997 года, автор четырех прозаических книг – «Сорок тысяч братьев» (1993), «Темное царство коммуналок» (1997), «Гиппократ и Аполлон» (2003, в соавторстве с Георгием Кузнецовым), «Все движется любовью» (2003) – и рас-

сказов и очерков, публиковавшихся в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Кольцо А», «Крыша мира», «Литературный европеец», «Мосты», «Наша улица», «Новое время», «Новый Журнал»...

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 219) опубликованы его материалы: «Французская карьера русского герцога»; в № 221 «На земле трудовых лагерей», в № 223 «Черный орел и земледельцы», в № 226 «Городу и миру», в № 227 «Кровь земли», в № 230 «Нет повести печальнее на свете».

Л и с н я н с к а я Инна Львовна, поэт.

Первые стихи опубликованы в 1948 году в Баку, там же вышел ее первый поэтический сборник «Это было со мною» (1957).

В 1960 году И. Л. переезжает в Москву и следующие три сборника стихотворений «Верность», «Не просто – любовь» и «Из первых уст» выходят уже в столице.

Включение семи стихотворений И. Л. в подзапрещенный альманах «Метрополь» (1979) повело к полному запрету ее публикаций, включая переводы из азербайджанской поэзии.

Вместе с Василием Аксеновым и Семеном Липкиным она вышла из Союза писателей, за чем последовало исключение ее даже из Литфонда, лишившее ее таким образом принадлежавшего ей по праву социального обеспечения.

С 1980 года ее стихи появляются в журналах русского Зарубежья, например, во «Время и мы» и в «Континенте».

В № 211 ГРАНЕЙ опубликован ее стихотворный цикл «Гимн».

Н и к о л а е в Владимир Дмитриевич (1925–2008) родился в Москве.

В 1941–1946 годах служил в Военно-Морском Флоте.

Окончил факультет журналистики Московского университета.

Корреспондентом журнала «Огонек» объездил полмира, несколько раз путешествовал по Соединенным Штатам Америки.

Автор трех десятков публицистических книг, из них – двадцать две об американцах и их повседневной жизни.

Его книга «Американцы» дважды выходила в издательстве «Советский писатель», переведена на несколько языков, в том числе на английский.

В 2002 году вышла книга В. Н. «Сталин, Гитлер и мы». В ней говорится о некоем мистическом родстве между диктаторами. В 2005

году издательство «Терра» выпустило эту книгу со значительными дополнениями.

В 2007 году в издательстве ЭНАС вышла итоговая книга В. Н. «Красное самоубийство».

В ГРАНЯХ (№ 217) опубликована его рецензия «Любовь и память» на книгу А. М. Славущкой «Всё, что было...». В №№ 225, 226 – документальная повесть «Сталинский лицей», в № 227 – «Война» и в № 228 «Открытие Америки».

П а н ч е н к о Ольга Николаевна (1948–1998) родилась в Калуге. Окончила Калужский педагогический институт.

Была специалистом по славянским языкам.

Защитила в 1997 году докторскую диссертацию по творчеству писателя Виктора Шкловского «Виктор Шкловский: текст – миф – реальность», которая вышла отдельной книгой уже после ухода О. П. из жизни.

Дочь русского поэта Н. В. Панченко.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

П я т к о в с к и й Алексей Юрьевич родился в Москве в 1960 году.

По окончании средней школы сменил множество мест работы. Был библиографом, техником, слесарем, завхозом, печатником, светокопировщиком и т. д.

С 1988 году учился на факультете архивного дела историко-архивного института РГГУ.

В тот же год примкнул к демократическому движению, участвовал в создании и затем возглавил Кунцевскую группу Московского народного фронта. Сотрудничал с неформальной прессой: газеты «Право», «Искра» и «Новая жизнь», являлся редактором отдела в журнале «Демократ» и ответственным секретарем исторического альманаха «Былое».

С 2004 года в Институте гуманитарно-политических исследований занимается историей демократического движения в СССР. Темы: «История Самиздата» и «История неформального движения».

Является автором книги воспоминаний о неформальном движении и иронического «Политического словаря».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Содержание томов №№ 229–232, 2009

<i>«Безразлично, кто от кого в бегах...»</i>	229
<i>«Все будет хорошо. Россия будет великой».</i>	230
<i>«Мы – поколение унесённых ветром...»</i>	231
<i>«Русская культура не есть «владение» тех, кто эту культуру “делает”...»</i>	232

ПУБЛИЦИСТИКА

ВОРОБЬЕВ Олег.	
Размышления о деградации	230
ДИМИТРОВ Эмил.	
Возможен ли русский Сорос?	232
ЧУБАЙС Игорь.	
Великая Отечественная.	
Когда мы избавимся от ложных мифов,	
когда напишем свою историю?	231

ПОЭЗИЯ

БАСОВА Ирина.	
«...И символы неясные любви»	230
БАСОВСКИЙ Наум.	
Стихи разных лет	232
БОТЕВА Валентина.	
«...В запредельности взгляда»	229

ДЗАНСОЛОВ Виктор.	
«Под небом стран, давно оставленных богами...»	231
КАЙСАРОВА Татьяна.	
«...Под поминальные колокола»	230
НЕДЗВЕЦКАЯ Татьяна.	
«...Прозрачная слеза фонтана»	231

ПРОЗА

БАСОВА Ирина.	
Поэт и эмиграция. <i>Литературное эссе</i>	229
ГОЛЕМБА Александр.	
Мироздание Клейна. Сухость сентября.	
Музыка. Свети – Цховели.	
Словолитня Ревильона.	229
ЖИЛКИНА Татьяна.	
Родился гением.	
Памяти драматурга Александра Вампилова	229
ЗАМЯТИН Евгений.	
Наводнение	230
ЗОРИН Александр.	
Веянье веселого ужаса. <i>Литературное эссе</i>	230
ИВАНОВ Всеволод.	
Чудо актера Смирнова	232
КАРАМЗИН Александр.	
Страницы «Послужного списка»	231
КРЯЧКО Борис.	
На старости лет	231
ЛИСНЯНСКАЯ Инна.	
На крылечке. Письмо Дмитрию Полищук	232
НИКОЛАЕВ Владимир.	
Тайны придворной летописи.	
Документальная повесть	229, 230, 231, 232
РУБИН Илья.	
Черновик романа	230

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

АЛЬМЕЧИТОВ Игорь.	
Двадцать пятая весна... Лабиринт	230
АРБУЗОВА Наталья.	
Сияющий столп. Четыре котофея	231
КУЗНЕЦОВ Виктор.	
Мой друг Еркин...	232
ПАНЧЕНКО Ольга.	
Большой пардон. В Москву, в Москву...	232
РУБИН Илья.	
Страх	229
СЕЛИССКИЙ Александр.	
Шлеп, Мурка и миска с молоком	231
ЭЙСНЕР Владимир.	
Налево от Полярной Звезды.	
Макорова Рассоха. Сигизийный отлив.	229

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

ВАСИЛЬЕВ Глеб, НИКИТИНА Галина.	
Подаренный нам Коктебель	229
ЖИРМУНСКАЯ Тамара.	
«Ты», которое стремится к «Вы»	231
ЗАВАДОВСКАЯ Светлана.	
«Пески пустынь укроют след...»	232
КУЗНЕЦОВ Виктор.	
«Нет повести печальнее на свете...»	230
ПОЛУЭКТОВ Георгий.	
Последние залпы	230
ХИТЦЕР Фридрих.	
Маленький кинжал в кожаном чехле	231
ЦАДКИН Осип – ЧЕМЕСОВА Ариадна	
«Заколдованный цветок папоротника...»	232

НАСЛЕДИЕ

ВИСТЕНГОФ Павел.	
Андрей Николаевич Карамзин	232

ЗАВАЛИШИН Вячеслав.	
Александр Блок и русская революция	230
ЛЕВИЦКИЙ Сергей.	
Патриарх русской философии	229

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА.

ЗОРИН Александр.	
Где Дух Господень – там свобода	229
УРУШЕВ Дмитрий.	
«И не молчат колокола...»	231

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АЙДИНЯН Станислав.	
Под крылом пепельного ангела	231
ЛОССКАЯ Вероника.	
О «Записных книжках» Цветаевой	229
РЕВИЧ Александр.	
Седое с детства поколение	231

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПЯТКОВСКИЙ Алексей – ДАНИЭЛЬ Александр.	
Воспоминания о Самиздате	232

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОРЯНИН Александр.	
Две России. Б. С. Пушкирев. Две России XX века.	
Обзор истории 1917–1993. Москва, «Посев». 2008	232

АРХИВ «ГРАНЕЙ»

КОТОВА Елена.	
Как я спасла Коломенское	229

ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров – порой с риском для жизни тех, кто это делал, – пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои – увы! – часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ – знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышащие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2009 году от Р.Х.

За 2008 год вышли №№ 225, 226, 227 и 228, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER–SUR–MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru
wickuz@orexovo.net**

Принимаем заявки на подписку 2009 и 2010 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n w751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Оригинал-макет – Елены Метченко

Подписано в печать . Формат 84 × 108 1/32.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. . Усл. кр.-отт. . Уч.-изд. л.

Тираж . Заказ № .

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».

Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.

Тел.: 936-83-28.

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ - 2009.
№229, №230, №231 и №232**

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ T. Jilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА K. Troosh
600 Fifth Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.

Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.

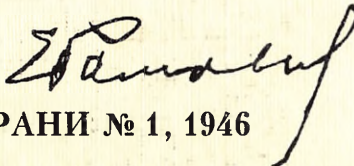
Каждый человек —
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть —
совершенствуется целое.

Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.

А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, —
Слову Правды.

Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.


ГРАНИ № 1, 1946